# Наваждение Пьеро

**Автор:**
Юлия Лавряшина

Наваждение Пьеро

Юлия Александровна Лавряшина

За чужими окнами

У Никиты есть все, что нужно обычному человеку, – интересная работа, любящая жена, подрастающая дочь… Но однажды на его пути встречается женщина, похожая на раненую птицу, и Никита забывает о том, что было ему дорого раньше, влюбившись в незнакомку с первого взгляда. Он готов совершать ради нее любые глупости и не боится предстать перед ней смешным. Но может ли даже самая большая любовь противостоять натиску обыденности, зависти и интригам? Что, если она – всего лишь наваждение?

Юлия Александровна Лавряшина

Наваждение Пьеро

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную,

административную и гражданскую ответственность.

© Лавряшина Ю., 2018

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2018

* * *

Ему снилось, что он летит над землей на корабле. Темное от времени, просоленное дерево по-стариковски стонало, а голая мачта, казалось, цеплялась за ветер, чтобы удержаться даже не на поверхности океана, скорее – над ним. Она выглядела жалкой и бесполезной, как скелет кем-то съеденной рыбы, вот только во сне Никите не было дано узнать: кто украл его парус?

Он упустил момент, когда попытки высоких волн дотянуться до его корабля переросли в штормовое неистовство. А позднее, уже днем, подумал, что, наверное, сны просто сглатывают эти переходные состояния, ведь их время ограничено, и нужно успеть провести человека через главное: штиль – шторм. Остальным, невнятным и зыбким, наполнены дни…

Никита понимал: этот шторм придумал он сам. Просто изнемог оттого, что ничего не происходит. Тягучая мелодия жизни, похожая на заунывные звуки губной гармошки, вытягивала душу, хотя каких-то три года назад он и не замечал этой монотонности. До того момента, как одно лицо из тысячи плоских, словно нарисованных на длинном панорамном холсте, вдруг не выделилось из этой череды. Не заставило вздрогнуть, как море сотрясается от подземного толчка, за которым следует такая волна, какой никто и не ждал.

Оказалось, он просто не рассчитал свои силы. Подспудно желая, чтобы все в нем наконец всколыхнулось и задышало совсем в другом ритме, Никита и представить не мог, что этот ритм окажется сумасшедшим до такой степени. Он всего лишь хотел немного встряхнуться, а его вывернуло наизнанку… Теперь он не узнавал себя.

Долетавшие снизу брызги намочили его рубашку, такую, каких Никита никогда не носил, – черную, шелковую, с просторными рукавами. Она оказалась не застегнутой, просто заправленной в брюки, и волосы на груди тоже покрылись капельками. Этого не могло быть, но Никите чудилось, что он каждым волоском ощущает ледяной бисер, который его самого превращал во что-то другое, продолжая череду изменений. Чем она могла закончиться?

Возбужденные вопли чаек проникали прямо в его кровь и растекались в ней толчками, будто все еще подгоняемые взмахами крыльев. В их движениях чувствовалось нарастающее отчаяние, которое грозило довести до кипения даже его разум. Впрочем, может быть, это уже произошло…

Содрогнувшись от такой догадки, Никита наспех вытер лицо влажным рукавом, и это прикосновение, приснившееся, но такое осязаемое, оставившее на коже ощущение солоноватой прохлады, заставило его подумать, что и пригрезившееся безумие реально лишь наполовину. Но, не проснувшись, Никита не мог понять, что именно неправда: то, что оно случилось с ним, или же то, что его удалось избежать?

«Я не позволю ему справиться со мной!» – протестующе крикнул он и проснулся от своего голоса, который прозвучал только внутри него, но так громко, что сумел разбудить.

А может, это сделал ветер, который сдуру ворвался в комнату, хотя в его распоряжении был огромный мир. Он быстро понял, что угодил в замкнутое пространство, где особенно не разгуляешься, и с лихорадочностью больного клаустрофобией полез в маленькую форточку. Попутно зацепил штору, и она выгнулась парусом, прижалась к стеклу так страстно, что даже оно, холодноватое и бесполое, не могло не отозваться. Но его ответное движение, если оно и было, тут же спугнула ваза с сиренью, сбитая неосторожным порывом. Она бесцеремонно звякнула хрустальным боком о стекло, требуя в первую очередь спасти именно ее. И Никита спросонья именно за вазу и схватился, еще не вспомнив, что в ней вода, просто инстинктивно отозвался на вопль о помощи.

Только закрыв форточку, он сообразил, что эту ночь, первую после пятидесяти предыдущих, проводит дома. Правда, не в том доме, где прожил последние пятнадцать лет, но вот здесь, в этой самой комнате, оставалось его детство и то время, когда молодость, казалось, еще только начинается. Никита почти не

помнил, каким был тогда, осталось только ощущение предчувствия чего-то необычного, потрясающего, что должно было с ним произойти…

Зато он хорошо помнил разные мелочи, детские безделушки: диковинные брелоки, несколько ножичков, марки с репродукциями картин, значки с символикой Московской олимпиады – главного события его юности. Ему не нужно было даже поворачивать голову, чтобы увидеть светлокожий книжный шкаф, на узкой стенке которого был навечно приклеен календарь тех же времен с олимпийским Мишкой. На прогнувшихся от времени полках мирно соседствовали Юрий Казаков и Генри Миллер, некогда поразивший Никиту не своим тоскливым цинизмом, а откровением на счет возбуждающего, почти развращающего действия фортепианной музыки. Когда его самого скрутила черно-белая страсть, Никита сразу вспомнил страницы о грехопадении при соучастии Черни. Только в его случае потрясать кулаками следовало у надгробия Листа…

Среди пластинок – виниловых, теперь ставших почти реликтовыми, – Листа не было. Следы юности оказались не так уж и глубоки, в них прочитывались другие имена – Адамо, Легран, Высоцкий, Дассен… Они тоже легко уживались и в нем самом, и в его маленькой комнате, выкрашенной матерью в цвет персика. Наверное, ей хотелось, чтобы ее сыну спалось сладко, и сны его были радостными.

Теперь она ничего не могла поделать с тем, что ночами за ним является деревянный корабль без парусов, похожий на подгнивший гроб, который неумный шутник столкнул в воду. Никита подозревал, что сам и был этим шутником.

Выйдя из психиатрической больницы, он, ничуть не колеблясь, отправился к отцу. Его не оставляло ощущение, что пойти больше некуда, хотя знал, что и Таня, и дочка его ждут. А теперь, стоя босиком у темного окна, за которым стонал и рвался куда-то некто огромный и беспомощный в своей ярости, Никита и сам ощущал похожую беспомощность. Он растерянно спрашивал себя, что делает здесь, как удивлялся бы любой человек, обнаруживший среди ночи над собой не тот потолок, который привык видеть, открывая глаза.

Он подумал, что, должно быть, просто привязался к месту, как одна из тех кошек, что в невероятных количествах развелись в доме отца после смерти матери. То одна, то другая из кошек время от времени исчезала, и отец

переживал эту очередную потерю так, будто рвалась еще одна ниточка, что связывала его с покойной женой. Он, не шутя, верил, будто кошки передают ей все, что вечерами выслушивают от него.

«Я не просто так сошел с ума, – хладнокровно решил Никита, добравшись мыслями до этих отцовских посиделок. – Это у нас, видимо, наследственное».

Не улыбнувшись этой нелепости, хотя ему уже объяснили, что депрессивное состояние, которое он пережил, не носит хронического характера и уже тем более не передается по наследству, Никита вернулся в постель и, отбросив одеяло, вытянулся на животе. Только сейчас он почувствовал, что еще способен получать удовольствие от одиночества и свежести постели, которых был лишен не только в больнице, но и – первого – все пятнадцать лет своего брака. Почему-то он все чаще ловил себя на том, что говорит не «семья», а «брак». Это казалось неправильным и несправедливым, ведь у него была самая настоящая семья. До того, как он вызвал внутри себя шторм и захлебнулся его мощью…

Все дожди собрались в месте том, где с тобою живем,

Где наш маленький дом в одночасье стал ветхим жильем.

Налетит ураган, меня к Гудвину он унесет —

В нашей сказке с тобою сложилось все наоборот.

Не спрошу у волшебника точной дороги назад,

Я пройду по плацу, где планеты проводят парад,

А на той стороне гору звездных камней наберу

И сложу дом другой… Но тебя в него не позову.

Впрочем, он подозревал: Таня и не догадывается, что их семьи больше нет. Разве он говорил ей об этом? Разве кто-нибудь говорил? Да и кто знает? Никита был уверен, что даже близким известно лишь то, что лежит на поверхности: товарищ по «Богеме» украл у Никиты рукопись и под своим именем издал сборник стихов. Странно, конечно, что за это Никита не набил ему морду и не побежал в суд, а угодил в психиатрию, но ведь не зря говорят, что «каждый по-своему с ума сходит».

(Он спросил: «Никита, а почему вы не издаете свои стихи? Спонсора нет?»

«Нет, – согласился Никита. – Но главное не в этом…»

«А в чем? У вас же накопилось на сборник!»

Никита с трудом заставил себя повторить это слово: «Накопилось. Но мне все кажется, что я вот-вот напишу что-то гораздо лучшее».

«Да ну, – с недоверием протянул Алеша. – Если б у меня было столько стихов, я б их сразу издал. А то их вроде как и нет…»

«Как нет?» – поразился Никита.

«Ну, кто их знает? Только наша „Богема“ разве что… Вам же не пятнадцать лет. Разве это может вас удовлетворить?»

Никита впервые заинтересовался:

«А тебе сколько лет?»

У Алеши как от нервного тика задергалось лицо – узкое и землистое, словно у приютского мальчика.

«Двадцать три», – не сразу ответил он.

Никита попытался свести все к шутке:

«Значит, и ты уже жить не можешь без своей книги?»

«Не могу», – подтвердил он с той сумрачной серьезностью, которая могла бы насторожить Никиту, но этого не случилось. У него было слишком идиллическое отношение к «Богеме»…

Подергав обветренными губами, с которых так и хотелось содрать мелкие корочки, Алеша с раздражением добавил:

«Только мне пока издать нечего, сами знаете… А спонсоров я нашел бы. Я знаю, как уговорить».

Может быть, если бы тогда Никита пересилил себя и сказал что-нибудь неискреннее, но ободряющее, с ними обоими ничего не случилось бы…)

«Если б дело было только в краже, – перевернувшись на спину, сказал он с детства знакомой сетке трещин на потолке. – Да плевать бы я хотел на эту книгу, если б она не была тем единственным, с чем я могу прийти к Лине… Что я представляю собой без этой книги, ей посвященной? Каждая строчка пропиталась ее дыханием… Без нее и не ожила бы. Ритм любой строфы был задан частотой взмахов ее руки над клавишами… Без Лины этих стихов просто не было бы. Я мечтал издать миниатюру, чтобы вложить ее в ладонь. В ее ладонь… Не в том дело, что этот чахлый ублюдок украл рукопись. Как, кстати, это ему удалось? Ладно, черт с ним и с книгой тоже… Но он лишил меня возможности хоть на шаг приблизиться к моей мечте, вот что меня подкосило. Лишил надежды на продолжение жизни… Именно про такой и говорят: перекрыл кислород. Дышать больше нечем».

Он не лукавил, хотя в физическом смысле дыхание все еще было с ним. Таня не позволила ему прерваться… Ему по-прежнему хотелось спать, и уже под утро проснулся голод, и затекающие мышцы требовали сменить положение. Но Никита больше не чувствовал в себе той жажды жизни, того веселого кипения крови, которое еще два месяца назад позволяло ему наслаждаться каждым днем.

Он повторил то, до чего додумался в больнице: «Я наказан за то, что совершил, хоть мысленное, но все же прелюбодеяние». Это открытие уже не пугало его и не вызывало в душе раскаяния. Когда ты уже мертв, поздно каяться… Никита догадывался: он повторяет это так часто лишь потому, что не может поверить, что это – грех. Лина и грех находились в разных плоскостях не только его сознания, но и всего мироздания, в котором с каждым годом обнаруживалось все больше изъянов. Вот только одно не могло измениться, сколько бы лет ни прошло.

Ему не нужно было самому себе открывать глаза на то, что Лина, хоть и пианистка, но в остальном – обычная женщина. И она также зевает по утрам, и у

нее бывают и насморк, и кишечные расстройства, и дурное настроение. Все это Никита принял сразу же, потому что всегда был нормальным, здравомыслящим человеком. И даже сам о себе не знал того, что способен сойти с ума. Он уснул с уверенностью, что теперь совершенно здоров и что здоровье это совершенно ему не нужно.

То, как именно Никита уснул, даже нельзя было определить расхожей фразой – «провалился в сон», ведь это уже предполагает хотя бы подобие действия. Он же не почувствовал ничего. Кто-то сглотнул несколько часов, и наступило утро. Очнулся Никита с мыслью, которую не прервало временное беспамятство: «Даже если это утро будет трехтысячным, оно нисколько не приблизит меня к Лине…»

Теперь, когда рассудок его вынудили проясниться, а тело упорно продолжало двигаться, утомляться и чего-то желать, ему предстояло научиться жить с этой мыслью. Хотя он никак не понимал: зачем? Все, чем он был поглощен последние три года, все, о чем он думал и чего хотел, оказалось так или иначе связано с Линой. С надеждой приблизиться… просто приблизиться к этой женщине. Хоть когда-нибудь… Теперь Никита не находил о чем думать, на что надеяться, чем жить.

Он ни на минуту не забывал, что в эти три года произошло много важного для него и никак не связанного с Линой. Дочка окончила начальную школу. Он защитил кандидатскую. Таня стала руководителем своего ансамбля пластического танца, который так и называли «Пласт». На самом деле это и составляло реальную жизнь, но высший ее смысл заключался в том, что на свете существует Лина. Но это было Никитиной святой тайной, ведь, кроме товарищей по «Богеме», никто не знал даже о том, что Никита Ушаков пишет стихи.

Почему он так болезненно скрывал свое творчество? На их кафедре истории культуры было несколько сочинителей, и ни один не отказывался почитать вслух за праздничным столом, составленным из нескольких студенческих. Никита о таком и помыслить не мог. У него начинало выскакивать сердце, и холодом сводило руки, стоило ему лишь мельком представить, что он может вот так же подняться с рюмкой в руке и вместо какого-нибудь дурацкого веселого тоста прочесть те строки, которые на самом деле были и не стихами даже, а безудержным стоном, который каким-то чудом удавалось передавать знаками и наносить на бумагу…

И почему он не боялся этого в «Богеме», их чердачном… клубе – не клубе, студии – не студии?.. А оказалось, что скрываться следовало как раз от тех, кого Никита считал чуть ли не братьями. Родных у него не было, только сестра, которая к тому же была моложе на несколько лет, а ему всегда хотелось испытать теплоту братства. Теперь он чаще вспоминал о Каине с Авелем…

Отмахиваясь от запоздалых сожалений, как от оголтелых комарих, Никита вышел из комнаты и увидел отца там, где и ожидал: на кухне в окружении кошек. Все, кроме него самого, чинно завтракали из маленьких пластмассовых блюдец, расставленных по полу в шахматном порядке. На Никиту никто не обратил особого внимания, только две самые тощие, видимо, не так давно вышедшие из городских джунглей, стали нервно оглядываться, угрожающе подергивая хвостами.

– Привет, пап, – сказал он как ни в чем не бывало, по лицу отца мгновенно угадав, что и тот собирается вести себя как ни в чем не бывало. – Очередная партия вдов и сирот? Как ты ухитряешься изловить такую ораву?

– Он издевается, господа! – объявил отец. – Да я уже не знаю, куда от них прятаться! У них же нюх, как у доберманов. Так и лезут со всех сторон…

Это было неправдой, и они оба это знали, но у Никиты не возникло ни малейшего желания уличать отца. Его невероятно трогали эти попытки прикрыть свою тоску старческим брюзжанием.

– От тебя вкусно пахнет, вот они и дуреют, – заметил он и заглянул в стоявшую на плите кастрюлю. – Овсянка? Ты кормишь кошек одной овсянкой? И они так лопают? Наверное, я чего-то не понимаю в этой жизни.

Отец степенно отозвался:

– Наверное, многого. Это завтрак английских принцесс.

– В Англии сейчас только одна принцесса, насколько я знаю.

– Всего? А нас еще смеют называть слаборазвитой страной! У нас с десяток принцесс на каждой помойке, – он любовно оглядел подрагивающие от спешки спинки. – Смотри, какая грация! А ведь все родились где-нибудь под расшатанным забором. Так что происхождение – это…

Не слушая, о чем говорит отец, Никита пробормотал:

– У тебя не осталось ни одного темного волоса…

Отец оглянулся, но с ответом помедлил. У него была большая голова и большие, почти черные, глаза, но все остальное выглядело мелковатым. Никита помнил, что уже лет с тринадцати гордился тем, что перерос отца. Теперь он никакой гордости не испытывал. Ему было жаль, что больше нельзя забраться к отцу на колени и выплакаться вволю, чтобы скопившееся горе опять не свело с ума…

– Мне ведь за шестьдесят, – негромко напомнил отец и отчего-то отвел глаза.

Никита сразу вспомнил то, к чему еще не успел привыкнуть: он и сам поседел в больнице.

– Говорят, ранняя седина от избытка кальция, – улыбнулся он.

– Правда? – подхватил отец. – Тогда это у нас, похоже, наследственное.

– Это? А я подозревал, что другое.

Быстро наклонившись, Никита схватил за хвост кошку с самой простонародной полосатой шкуркой и легонько потянул к себе. Тренированные уличными боями, лапы мгновенно растопырились, и кошка отчаянно заскребла когтями линолеум, пытаясь удержаться возле миски.

– Господа, у моего сына атрофировался мозг, – невозмутимо сообщил отец. – Она же отомстит. Это тебе не собака.

– Думаешь, они все мстят, когда обидишь? – Никита продолжал удерживать в кулаке гибкий сильный хвост, хотя думал уже не о животных.

Отец отозвался так, будто понял его:

– Может, и не все… Но если хотя бы одной из них вздумается это сделать, тебе мало не покажется.

Разжав руку, Никита осторожно погладил серый мех, под которым волнами прокатывалось раздражение. Ему показалось, что кошка отторгает его.

Он оставил ее в покое и опять заглянул в кастрюлю, на дне которой оставалось немного каши. Она сбилась жалким комочком и зябко ссохлась сверху, но Никита все равно спросил:

– Можно я доем? Желудок уже сам себя пожирать начал. Это, наверное, от таблеток.

– Да ради бога! – откликнулся отец, ничуть не смутившись, что сын, который был вроде как у него в гостях, выпрашивает остатки кошачьего завтрака.

Достав ложку из того ящика, где они лежали и тридцать лет назад, Никита почерпнул побольше прямо из кастрюли и набил полный рот. Каша оказалась еще теплой, только совсем не сладкой.

– А зачем кошкам сахар? – удивился отец. – Они и так прекрасно обходятся.

– Но я-то не кошка! Мог бы и предупредить. Я б хоть сверху посыпал…

В ответ прозвучало наставительное:

– Сладкое вредно.

«А зачем мне себя беречь?» – подумал Никита без отчаяния и надрыва, почти равнодушно, ведь у него было время принять то, что он больше не напишет стихи, не пойдет на школьный концерт, не увидит Лину… Эти действия не совершали миллионы людей и были при этом довольны своей жизнью, Никита понимал это, только никак не мог уяснить: зачем нужна такая жизнь?

– Дело ведь не только в книге? – макая в чашку с кипятком пакетик чая, спросил отец.

Не поверив, что он заговорил об этом, Никита привычно переспросил:

– Что-что?

– Не из-за книги же ты… заболел, – упорно высматривая что-то на дне чашки, уточнил отец. – Помнится, ты никогда и не собирался быть поэтом. Ты ведь не к изданию стремился, правда?

Облизав ложку, Никита бросил ее в кастрюлю. Кошек так и придавил к полу этот резкий металлический звук. Их головы, мгновенно ставшие плоскими от того, что разом прижались уши, повернулись, как у солдат по команде: «Равняйсь!» Но стоило Никите заговорить, как они с прежней обстоятельностью принялись за еду.

– Это шито белыми нитками? – спросил он.

Отец опять отвел взгляд:

– Для кого как… Таня вряд ли что-нибудь разглядела. Ей не хочется этого видеть.

– А Васька?

О сестре он помнил все это время, но спросил только сейчас. На самом деле ее звали Василисой – родителям нравились протяжные, былинные имена. Но Никита прозвал ее Васькой, по-своему, с детской нелогичностью протестуя против того, что его одарили сестрой, а не братом. Его утешало лишь то, что в Ваське оказалось очень мало девчоночьего. Ее черные волосы с рождения торчали «ежиком», а глаза были вытаращены от непроходящего изумления: «Как же много можно натворить в этом мире!» Она росла шкодливой и вместе с тем ленивой, Никите приходилось делать за нее уроки и отыскивать в школе потерянную «сменку». Разозлившись, он мог дать ей затрещину, но другим не позволял и пальцем тронуть свою сестру. Пять лет разницы не укрепляли их дружбы, но и не мешали любви.

«Ва-аська, – протянул он про себя. – Вот тебя я хочу увидеть…»

– С Василисой мы этого не обсуждали, – ответил отец тоном, слишком нейтральным для того, чтобы можно было в это поверить.

Только усмехнувшись, Никита опять спросил о сестре:

– Своего урода она еще не выгнала?

– Он не урод, – возразил отец. – Только голова квадратная, а так ничего… И потом, если кто кого и мог выгнать в такой ситуации, так это он ее.

Никита сердито хмыкнул:

– Кто мог подумать, что Васька сама полезет в золотую клетку?!

– Может, изнутри она кажется дворцом… Кто не метал о собственном дворце? Давно мы с тобой там не были.

– Я и не собираюсь!

– Теперь это ее дом. Ты не имеешь права презирать ее выбор.

– Как ты правильно заговорил, – поморщился Никита. – Почему это я не имею права?

Выбросив измученный пакетик с заваркой, отец все также внушительно произнес:

– Потому что это – ее выбор. Свой презирай сколько угодно. Ты вот ешь овсянку прямо из кастрюли, и тебя это не унижает…

– А ее?!

Он так и захлебнулся всем, что нахлынуло, протестуя и защищая Ваську. Ведь она не могла забыть, как однажды мать увезли с кровотечением в больницу, а

отец ни о ком не мог думать в тот день, кроме нее, и они с Васькой с голодухи съели кошачью похлебку, которую обычно готовили на несколько дней. Не раз они перекусывали немытым щавелем и заячьей капустой. Забравшись на черемуху, прямо зубами срывали с веток ягоды, а теперь, по словам отца, выходило, будто Ваську все это унижало, и она только того и ждала, чтобы кто-нибудь вытащил ее из нищеты и усадил за дубовый стол, уставленный серебром.

Понимая, что это несправедливо по отношению к отцу, Никита все же сказал:

– Ты ее просто не знаешь.

Гораздо более справедливым ему казалось спасти Ваську от того образа, который на нее натягивали. Не со зла, конечно, к тому же она сама дала повод думать, что он может ей понравиться. Но как бы то ни было, Никита не мог позволить настолько изуродовать свою сестру.

Отец приподнял брови, одна из которых уже начала седеть, а другая оставалась черной:

– Может, Васька и сама себя еще не знает.

«А кто знает?» – подумал Никита, и в тот же момент отец, уловив его мысль, спросил:

– Вот ты знаешь себя?

– Спрашивай-спрашивай, – кивнул Никита. – Ты ведь хочешь узнать что-то более… конкретное?

– Ладно… У тебя… О господа! – вскричал он, пытаясь побороть смущение. – Как мне разговаривать об этом с собственным сыном?

– У меня… Что?

– У тебя появилась… Кто? Ну, не знаю… Подруга? Любовница? Как вы теперь это называете?

– Нет, – не мешкая, отозвался Никита. – У меня нет любовницы.

«Почему я так упорно таюсь от отца? – мелькнуло в голове. – Он ведь меня не выдаст…»

– И ты не собираешься разводиться? – превозмогая неловкость, уже выступившую испариной на крыльях носа, продолжал допытываться отец.

Пришлось повторить еще раз:

– Нет. – И внезапно решившись, Никита добавил: – Хотя так оказалось бы лучше.

– Кому? Тане? Муське?

– Мне, – откровенно сказал Никита и попытался выдержать его взгляд. – Только мне.

Бросив в раковину чайную ложечку, которую все вертел в пальцах, отец грустно проговорил:

– Господа, она все-таки существует…

– Кто?

– Она.

– Да. Она существует. Только она никогда не была моей любовницей. И не будет. Теперь уже нет…

У отца сделались такие глаза, что Никите захотелось как в детстве забраться под кухонный стол, чтоб никто его больше не видел. Оттуда все выглядело другим, и когда мальчика что-то пугало или расстраивало, он залезал под стол, инстинктивно надеясь справиться со страшным, просто изменив угол зрения. Почему-то Никита даже не вспомнил об этом два месяца назад, когда страшное опять его настигло.

– Жаль, – освободив сына от своего взгляда, сказал отец. – С любовницей легче расстаться…

«Неужели?!» – поразился Никита его уверенности.

– Так ты это знаешь?

Ему и раньше было прекрасно известно, что весь мир грешен, но сейчас от пустячного, еще не произнесенного подтверждения почему-то полегчало. Хотя его собственный грех оставался настолько умозрительным, что, пожалуй, любой здравомыслящий человек поднял бы Никиту на смех. Вот только Никита больше не считал себя здравомыслящим.

Отец ответил с нахальным мальчишеским вызовом:

– Ну, знаю!

– Вот это да, – прошептал Никита, разглядывая его, будто впервые. – Я и не подозревал…

– Я унес бы эту страшную тайну в могилу… Только, может, она для тебя сейчас, как бальзам на душу. Всегда легче становится, когда видишь, что в трясину влип не ты один.

– В трясину? Я не так это вижу… Ну да ладно, мне действительно как-то полегчало. Уж не знаю почему…

– Господа, он не знает! Да просто потому, что ты наконец заговорил. Ты в курсе, я никогда не ронял слюни по поводу всяких психотерапевтических штучек… Но если ты все будешь держать в себе, оно задавит тебя, и все тут!

Терпеливо, как врач у пациента, Никита спросил:

– Что ты хочешь услышать?

– Все, – заявил отец. – Что тебя так изводит? Ты же на себя не похож! Я еще не видел, чтобы так изводились из-за женщины… А у меня все друзья по два-три

раза женились. Она не любит тебя?

– Она меня даже не знает.

– Совсем?

– Даже не видела.

Отец громко вздохнул:

– Еще не лучше…

– Это хуже?

– Гораздо. Таня, конечно, ничего не знает?

– Я надеюсь. Зачем ей знать? Я ведь никуда не ухожу… Я просто не могу пойти туда сейчас, понимаешь? Я еще ощущаю заторможенность, тоже, наверное, из-за таблеток. Так и выдать себя недолго.

Взяв на руки одну из кошек, которая не проявила никаких признаков радости, отец сказал:

– А может, ты этого и хочешь?

– Наверное, – не сразу ответил Никита, глядя на подрагивающее треугольное ухо кошки. – Одному мне сейчас было бы легче. Гораздо легче. Только ей-то за что такое? Тане, я имею в виду… Она не заслужила.

– Это уж точно, – без фальшивого воодушевления подтвердил отец. – Но я, знаешь ли, больше о тебе сейчас думаю. Ничего не поделаешь, из вас двоих ты мне роднее. Не подумай, что я притягиваю за уши, но мне ведь всегда казалось, что ты способен… на такое.

– На любовь или на самоубийство? – заинтересовался Никита.

Он поднял другую кошку и провел рукой по коричневой шкурке: «Теплая… Может, мне просто тепла не хватило? Моя температура опустилась ниже положенной, и меня потянуло в сон…»

– А есть разница? – усмехнулся отец так, что почудилось, будто сейчас он расплачется. – Когда речь идет о такой любви… Это и есть самоубийство. Слава богу, Он ничем таким меня не испытывал. А ты всегда… всегда чем-то отличался от других детей. Даже взглядом.

– Ты же всем рассказываешь, что в детстве я был хулиганом!

– Это да. Но иногда ты смотрел на меня, и мурашки по коже рассыпались.

– Как я смотрел? Кровожадно?

Не поддержав его тон, отец сказал:

– Не то чтобы по-взрослому… А как-то трагически. Мне даже казалось, что ты видишь нечто такое, что нам не дается.

– Ваши внутренние органы. Я читал, что у многих малышей вместо глаз по рентгеновскому лучу.

– Ты все еще не можешь говорить об этом серьезно?

Тогда Никита пробормотал кошке в ухо, которое быстро задергалось, показывая белый пушок внутри:

– Значит, я прозревал свое жуткое будущее.

– Может, если б мы были повнимательнее, то смогли бы чем-нибудь помочь тебе…

– Например, удавить подушкой в колыбели… Ну, хватит, – отпустив кошку, Никита шагнул к двери и, не оборачиваясь, сказал: – Наш разговор начинает смахивать на диалог из бразильского сериала. Тебя еще не подташнивает?

Вслед ему донеслось:

– Люди влюбляются не только в кино! Ты ведь уже убедился…

Про себя Никита мрачно добавил: «Только лучше бы этого не было…»

Он спустился во двор, который казался придавленным низкими, угрюмыми тучами, и быстро пересек его, не зацепившись взглядом ни за одну из примет своего детства, потому что был слишком поглощен настоящим, чтобы прошлое могло дотянуться до него. Перебежав шоссе, Никита направился в ту часть района, где он словно присаживался на корточки и снизу хитро поглядывал на плосколицые многоэтажки. Там была «Богема». Там жил Антон.

Когда-то они встретились только потому, что Антону Сергееву понадобилась статья об абитуриентах гуманитарных факультетов. Но он проспал до полудня и потому, добросовестно потыкавшись в запертые двери нескольких кафедр, обнаружил одного Никиту. Радость, не видимыми глазом, но осязаемыми пучками брызнула из глубоких ямочек на щеках Антона, а похожие на капли голубые глаза засияли. Казалось, из них вот-вот польются слезы счастья…

Но больше всего Никиту поразил его лоб: высоченный и неестественно-белый на пожелтевшем от солнца лице. Улыбка Антона была открытой настолько, что Никите почудилось, что они, если и не друзья детства, то, по крайней мере, давно и близко знакомы. И хотя с первых же слов он понял, что ошибся и они в глаза друг друга не видели, разговор уже сам собой завязался, что для Никиты не было обычным делом. Он немного дичился чужих, не находя в себе самом ничего настолько интересного, чтобы незнакомым людям захотелось тратить на него время.

Но Антону за пару минут удалось перестать быть незнакомым. Во многом, конечно, сказалась журналистская легкость общения, но Никите нравилось думать, что им просто было о чем поговорить. Усевшись на край его стола, Антон тут же поделился идеей создать в городе место, куда сами собой стекались бы все чудики, у которых еще не пропало желание что-то сочинять, лепить, выдумывать. Просто для того, чтобы пообщаться.

– Подпитаться друг от друга, – сияя глазами, пояснил он.

– Рембо полагал, что в общении нуждаются лишь слабые поэты, – напомнил Никита, любивший «Пьяный корабль» чуть ли не больше всей мировой поэзии.

Антон немедленно откликнулся:

– Ну, приятель! Этот парень был гением. Я же не для гениев пытаюсь создать этот клуб. Если кто-то из нас дорастет до этого уровня… Ну, отпустим его, и все дела! Между прочим, я уже и чердачок подходящий присмотрел. Пылища там уже гениальная…

Они оба считали, что в тот день «Богема» и родилась.

Идти было недалеко, и Никита старался не торопиться, чтобы успеть хоть немного разобраться в том, о чем теперь, как ему казалось, он мог размышлять трезво. Почти трезво. В больнице он задыхался от избытка времени, как в горах жители низин теряют сознание от непривычного количества кислорода. Но думать там Никита не мог. Вместо спасательных кругов Таня подбрасывала ему современные детективы, такие же яркие и пустые. Никита хватался за них, чтобы только опять не уйти с головой в ту черноту, из которой только-только выбирался.

О его собственной книге Таня наверняка знала только то, что ее украли. Ей было страшно неосторожным вопросом разрушить то обманчивое равновесие, в которое Никита привел себя, а сам он сказал, будто «в этой работе» размышлял о Вечной Женственности. В сущности, так оно и было.

«Я хотела бы почитать», – улыбка у нее вышла такой незнакомо-боязливой, что Никите стало не по себе. Он не собирался больше пугать жену. Из-за него она и так перенесла такой страх, больше которого Никита и сам ничего представить не мог. И все же он сказал достаточно жестко, чтобы не возвращаться к вопросу:

«Этой книги не будет в моем доме».

С тех пор Таня об этом не заговаривала.

Теперь Никита чувствовал себя освободившимся и от детективов, и от таблеток и уже пытался поверить в то, что выздоровел настолько, что сможет разобраться, куда завела его эта любовь, случившаяся потому, что он принял женщину за фантастическую птицу.

Тогда был день его рождения… Сейчас это выглядело символичным: ему исполнилось тридцать три, когда он увидел Лину. Было так жарко, что Никита с Таней сочли преступным запирать десяток гостей в городской квартире, а дачи у них не было, компания отправилась на обрыв, до которого было минут двадцать ходу. Там им тоже потребовалось немного времени, чтобы развеселиться до такой степени, что девушки решились станцевать в бикини. И затеяла это, конечно, Таня, которая наверняка знала, что в открытом купальнике будет выглядеть лучше остальных.

Распустив черные волосы, она хохотала, запрокидывая голову, похожая на прекрасную туземку с какого-то экзотического острова. Никита чувствовал, что на него, как на единственного обладателя этого живого чуда, поглядывают с завистью, но почему-то не обнаруживал в себе никаких признаков гордости. Потом, вспоминая эти минуты, – до Пришествия, – он пытался понять, в чем была причина охватившей его тоски. От нее перехватывало горло и кололо под ребрами… Предчувствие это было или что-то другое? Одно он знал точно: Таня тут ни при чем. Она любила его и ни разу не дала ему повода разочароваться в себе.

Он просто увидел Нечто. Ему почудилось, будто за деревьями мелькнула невероятных размеров птица с длинным-предлинным хвостом. Может, в нем проснулся азарт охотника, и он шагнул следом, чтобы просто догнать…

Кажется, никто и не заметил, как Никита слился с соснами, на мгновение став одной из них, как та женщина, которую он еще не разглядел, превратилась в птицу. Не подумав, что может попросту напугать ее, Никита выскочил наперерез, дуя на обожженную крапивой руку. Лина замерла, едва не выронив длиннющие стебли-перья.

– Ой, извините, – глупо сказал он, опустив руку. – Мне показалось…

Она боязливо кивнула, видно еще не решив: стоит ли заговаривать с шастающим по лесу нетрезвым человеком. В тот миг Никита уже опьянел настолько, что

счастливо произнес:

– Вы – птица!

– А вы кто? – спросила она и выставила стебли вперед, как будто они могли ее защитить.

– Кто? Не знаю. А на кого я похож?

Лина ответила с обрадовавшей его лукавостью:

– На медведя-шатуна. Молодого медведя.

Никита оглянулся на кусты, которые разворошил:

– Ну да… Да. Вы боитесь медведей?

– Я еще ни одного не встречала, – сказала она, и Никите показалось, что это прозвучало уже серьезно.

Осторожно протянув руку, он тронул узкий изогнутый лист, самый кончик которого уже сухо съежился:

– Зачем вам это?

– Они валялись на земле, – словно оправдываясь, объяснила Лина и, в свою очередь, оглянулась в ту сторону, откуда пришла. – Я их не срывала.

– Да я же только спросил: зачем они?

– Поставлю в вазу. На окно. Разве это не будет красиво?

У него вырвалось:

– Хотел бы я это увидеть.

Ее тон тут же изменился:

– Это исключено. Извините.

Смотрела она, выжидая, напряженно сведя брови, и Никита сплоховал, отступил с тропы. Крапива охотно куснула его за ногу, потому что он разулся на обрыве, как и все остальные. Он сморщился и засмеялся. Над собой, конечно, и еще от боли, а Лина покраснела и быстро пошла к городу, унося свой лиственный хвост.

– До свидания! – крикнул Никита ей вслед.

Она ответила, только чуть повернув голову:

– Всего хорошего.

Только когда Лина скрылась за кривой черемухой, Никита наконец увидел ее. У него всегда была такая странность: по памяти он мог представить точнее, чем когда видел наяву. Особенно человека, потому что общение с другими заставляло его волноваться, и от этого не излечили даже десять лет преподавания.

И он увидел овал ее лица – такой нежный, что, казалось, был нарисован рукой Рафаэля. Ее глаза были не такими большими, как у Тани, и не такими темными, но во взгляде этих глаз, которым разрез придавал особую форму, Никита обнаружил нечто, не скользнувшее по его душе, а оставшееся в ней. Волосы у Лины были каштановыми, а на солнце в коротких крупных завитках вспыхивали рыжие язычки.

И еще он увидел особую бледность губ, в которой было не увядание, а нежность. И еще – удивительную плавность тела… Таня, пожалуй, сочла бы ее полноватой, для нее лишний грамм на животе уже был признаком ожирения. Но Никита, глядя на пустую тропинку, каждой клеткой ладоней ощутил ту непередаваемую мягкость, которую невозможно описать словами и от которой никак не оторваться…

Похожие черты в отдельности он встречал и раньше, но только в Лине они слились в то единое целое, которое Никита, инстинктивно оберегая свою тайну,

назвал Вечной Женственностью. И лишь спустя миг понял, до чего же к месту пришлись эти блоковские слова.

Но тогда вблизи от обрыва (жизни?), стоя босиком в крапиве, Никита не вспомнил этого знаменитого определения. Он только смотрел на опустевший лес и чувствовал, как пустота медленно просачивается в него через голые ступни и уже заполняет его целиком, удивительным образом сочетаясь с неизведанной им ранее заполненностью. Это было знание о том, что Лина существует…

«Да, она существует», – так он и ответил отцу, солгав при этом, что Лина даже не видела его. И вместе с тем, вовсе не солгал, потому что был уверен: она давно забыла тот свой взгляд на него. Трудно было предположить, сколько бы Никита помнил свой собственный, если бы не концерт… Скорее всего, Лина отступила бы за грань, где хранятся главные радости, узнанные в жизни. Их необязательно постоянно помнить, но только из них можно сплести ту веревку, что вытянет тебя на поверхность из любой пропасти. Если их накопилось мало, длины веревки может не хватить…

Но они увиделись еще раз. Вернее, это Никита увидел, а Лина смотрела только на клавиши. У нее был слишком небольшой опыт сценических выступлений, чтобы волноваться хоть чуточку меньше. Она ведь была просто учительницей по классу фортепиано.

Никита оказался на том концерте в школе искусств только потому, что его дочка, Муська, как ее звали в семье, занималась в театральной студии, и ей захотелось послушать одну из своих подружек, которая вдобавок была еще и пианисткой.

– Надя будет играть Чайковского, – сообщила Муська таким тоном, что Никита почувствовал себя просто обязанным пасть ниц перед девочкой, которая водила дружбу со столь потрясающей особой.

Он взял и рухнул на колени, а Муська взвизгнула от неожиданности, потом расхохоталась, по-матерински откидывая голову, и полезла к нему на плечи. Никита, как обычно, обскакал бодрым галопом всю квартиру, в которой всего и было-то двадцать шесть метров, и вместе с девочкой свалился на диван, опять забыв, что пружины в нем ни к черту и могут, как гнойник, прорваться в любой момент.

– Ой, мама бы нас убила! – запричитала Муська и тут же перешла на деловой тон: – Так мы идем на концерт?

Он возмутился, сбросив с себя дочку:

– Думаешь, я согласен прожить жизнь, так и не услышав божественной Надькиной игры?!

Муська без смущения призналась:

– Ничего не поняла. Мы идем?

– Идем-идем, тупое ты создание…

Она открыла было рот, видимо, с желанием ответить: «Сам тупой», – но вспомнила, что на такие вещи папино чувство юмора не распространяется, и промолчала. Собирая дочку, Никита эгоистично порадовался тому, что у нее короткие волосы, по которым можно пару раз провести расческой и этим ограничиться. Хотя самой Муське хотелось иметь длинные, как у матери. Но волосишки у девочки были жиденькие, отращивать их не имело смысла.

– Это в меня, – каялся Никита. – Видишь, у меня тоже три волосины.

Муська смертельно обижалась:

– У меня не три!

– Ох, прости! Четвертую я не заметил…

– Ну, папа! – взвизгивала дочь. – Вечно ты!

Эта неоконченная фраза, вспомнившись, вдруг больно задела его: «Вечно я… Оказалось, что я не вечно. Что же тогда вечно? С чем она останется, если я отниму эту веру?»

Ему увиделось, как Муська, смешно оттопырив губы, как делала Таня, подкрашивая глаза, примеряет у зеркала ее шляпу. В ней Муська становилась похожа на Гека Финна, а в спектакле ей доверили роль Бэкки. Оборачиваясь, она бросала на отца томный взгляд, каким, по ее мнению, только и можно было сразить сердце бесшабашного Тома:

– Па, подыграй!

Он тотчас включался и начинал орать:

– Бэкки, и не проси! Тетя Полли мне одному доверила покрасить этот забор. Уж кто только меня не уламывал… Почти целое яблоко предлагали, но тетя…

Пытаясь перекричать его, Муська трясла стиснутыми кулачками:

– Папа! Бэкки забор не красила!

– Нет? – Никита удивленно таращил глаза и разводил руками. – И даже не просила? Вот зануда…

– Никакая она не зануда, что ты зря… В пещеру же она пошла!

– Ну, это из других соображений…

– Папа!

Он подмигивал:

– Вот ты бы не отказалась помалевать на заборе, точно?

– Ну, я!

– Вот-вот… А Бэкки – она зануда.

– Пап, да ее там даже не было, если хочешь знать! Она еще не появилась.

– На свет? Неужели? – Никита делал озабоченное лицо. – А мне почему-то казалось, что она прохаживалась в стороне, вот так задрав нос…

И он принимался вышагивать по комнате, откровенно виляя бедрами и игриво вскидывая голову. Муська хохотала и цеплялась за него:

– Да все ты помнишь! Ты притворяешься, как всегда. Притворюшкин… Лучше расскажи мне, как по правде было. Про театр…

Они усаживались рядышком на визгливом диване, и Никита, понизив голос, будто собирался поведать дочери страшную-престрашную историю, рассказывал о Потешном чулане, или о четырех масках италийской комедии ателлана, или о шекспировском «Глобусе», или о Стрепетовой, о Ермоловой, Савиной…

– Ты столько знаешь, – восхищенно вздыхала Муська и с наслаждением облизывалась, будто напиталась его историями досыта.

Вспомнив и об этом, Никита без особой радости согласился: «Я много знаю. Кроме одного… Как теперь жить? Раз уж уснуть мне не дали».

Уже завидев высокую остроугольную крышу, приютившую их «Богему», Никита ясно представил поднявшуюся таким же шатром крышку черного рояля. Взлетая над клавишами, руки Лины казались рядом с его глянцевой поверхностью ослепительно-белыми. Никита помнил, что во время того концерта ему все время хотелось зажмуриться, но не от этого блеска, а от боли, которая так неуловимо сменила вспыхнувшую в нем радость, что он и сам не заметил. Тогда он и узнал ее имя – Элина Теплова. Но не запомнил сразу, потому что, когда объявляли, Никита еще не предполагал, о ком идет речь, а когда она вышла на сцену, так заметно рванулся вперед, что Муська прошептала: «Пап, ты чего?»

Он отмахнулся. Впервые отмахнулся от своей дочери и даже не заметил этого. Ему хотелось крикнуть: «Как? Как ее зовут? Повторите!»

И в этот момент чей-то старчески-осевший голос произнес позади него: «Лина очень хорошо зарекомендовала себя в последние два года».

Он с облегчением откинулся на спинку стула: «Лина». Так и запомнил. Никакой Элины для него не существовало. Теперь он смог услышать: она играла Листа, к которому вообще мало кто из исполнителей решается подступиться. А из женщин тем более…

«Почему она здесь, в этой районной школе?» – хотелось ему спросить у кого-нибудь, но Никита боялся оскорбить этим других учителей, а значит, навлечь на Лину неприятности.

К тому же в тот момент гораздо острее Никиту мучило другое: он всегда утверждал, что взаимное или даже невзаимное притяжение может называться любовью только, если существует духовное совпадение двоих. Но он совсем не знал этой женщины… Она могла не любить те книги, которыми Никита зачитывался, не знать стихов, которые он помнил наизусть. Не засматриваться на закаты. Не предпочитать ромашки и ландыши самым изысканным цветам…

И вместе с тем Никита не обнаруживал в себе нетерпеливого желания просто овладеть ею и потому не мог назвать это и страстью. Он просто не знал – что с ним.

– Ты не хочешь учиться музыке? – Он умоляюще заглянул в глаза дочери. – Я бы сам водил тебя в школу…

Муська удивилась, но ничего не заподозрила:

– Здрасте, пап, ты что забыл? Сам же говорил, что мне медведь на ухо наступил!

Никита попробовал упорствовать:

– Музыкальный слух можно развить. Нужно только постараться.

– Тогда я бы лучше уж танцевать стала, – равнодушно отозвалась девочка. – Танцовщицы все красивые. Как мама.

– Ну да, – уныло подтвердил Никита. Возразить на это было нечего. Он действительно не встречал женщины красивее, чем Таня.

Он подумал тогда: «Я и сам пошел бы, только ведь не возьмут. А почему нельзя начать учиться в тридцать три года? Самый подходящий возраст…»

Теперь, три года спустя, уже потеряв и вновь обретя рассудок, Никита пытался заставить себя думать только о том, что его любовь… или как там это называется… все же больше опустошила его, чем наполнила. Ну да, он написал за это время в десять раз больше стихов, чем за всю жизнь до Лины… Наверное, они были не совсем безнадежны, раз уж их украли… Только никакой радости Никита от этого не испытывал.

Ему казалось, что он к чему-то шел всю эту тысячу дней. Бежал, подгоняемый вдохновением и пульсирующей в крови уверенностью, что он вот-вот настигнет эту женщину, которой покорился даже Лист, дотянется до нее… А выяснилось, что оказался там же, откуда начал свой путь. С ним по-прежнему были его семья, и друзья, и студенты, а Никита видел себя стоящим босиком в крапиве. Эта жгучая трава и стала главным, что составляло теперь его жизнь…

* * *

Перед моими глазами серая пелена. Порой мне кажется – это стекло. Грязное. Залапанное дождями.

В другие дни я вижу, что это паутина. Она стянула прутья клетки. Моей клетки. Она вокруг меня.

Я слышу, как невесомые ниточки нашептывают о смерти. Моей смерти. И понимаю, что мастер кошмаров, имени которого уже не вспомнить, написал обо мне. Что это я – суетливое насекомое с дрожащими от не проходящего страха лапами.

Моя жизнь не оборвалась до сих пор лишь потому, что никто из людей не опустил взгляд так низко, чтобы заметить меня.

Выходит, вокруг люди, умеющие высоко держать голову. Для меня будет честью погибнуть от руки одного из них.

Иногда я слышу их голоса. Они звучат приглушенно и невнятно. Наверное, нас разделяет целая толща воды. И стекло… Все-таки стекло, которое я вижу перед собой, вставлено в иллюминатор корабля. Может быть, я – единственный пассажир этого корабля. А может, и не пассажир даже…

Что-то подсказывает мне: наступит час, когда я поверю, что это судно принадлежит мне целиком. Но пока меня еще гложут сомнения. Не просто поверить, что ты обладаешь чем-то большим, нежели окружающие тебя люди.

Если к тому же нет полной уверенности, что ты – человек…

* * *

Квартира Антона как раз и была одной из тех, над которыми расположилась «Богема». Его обаяния без труда хватило на то, чтобы уговорить старушку-соседку разрешить им раз в неделю топтаться у нее над головой. Один раз со временем перерос в три, а то и четыре, но старушка все равно почти ничего не слышала.

К тому же, оказалось, она нянчила Антона еще в те времена, когда он даже не знал такого слова «богема». Соседка настаивала, чтобы Антон и сейчас хоть изредка захаживал к ней с кем-нибудь из друзей, и неторопливо, со вкусом, рассказывала, как держала их лидера на коленях – «по кочкам, по кочкам!» И как он бесстыже пи?сал ей прямо на ситцевый халатик.

Все приятели, не сговариваясь, начинали уверять, что значит ей «гулять» на Антоновой свадьбе, хотя никто в это не верил. Не только потому, что бабушке оставалось каких-то полгода до девяностолетия… Это бы еще куда ни шло: закаленное, как сталь, поколение и не такое долголетие могло потянуть. Но вот представить Антона женатым не мог ни один из хвалившихся своим воображением поэтов.

Никита как-то раз даже назвал квартиру приятеля «спальней „Богемы“». Антон на это не то что не обиделся, но даже остался доволен. Главным его талантом, помимо того, что он «задней лапой» писал статьи о «культурной жизни», можно было считать то, что Антону удавалось сохранять удивительно трогательные отношения со всеми отставными подругами. Он любил людей, и ему нравилось

доставлять им удовольствие. Не для себя же он создал этот «чердачный клуб»! Сам Антон никогда не сочинял без задания.

Уже на пороге его квартиры Никита догадался, что пришел получить немного радости.

– О, привет! – завопил Антон, подтягивая просторные трусы. Для того чтобы обольщать женщин, ему не требовалось пользоваться такими примитивными уловками, как красивое нижнее белье.

Никита только улыбнулся в ответ, предположив, что какое-то время Антон все равно не даст ему рта раскрыть.

– Солнышко, прикройся там! – крикнул он кому-то в комнату и тут же потащил туда Никиту. – Смотри, какая тут у меня кысонька!

Он так и произносил «кысонька». Никита слышал это уже раз сто, и все кысоньки успели слиться в образ удовлетворенного обожания.

– Доброе утро, – давясь смехом, который приходилось сглатывать, вежливо сказал Никита. – Очень рад познакомиться.

– Я тоже, – равнодушно отозвалась девушка. – У вас нет сигарет? Я в спешке забыла захватить.

Никита отчетливо представил эту спешку и опять чуть не рассмеялся. Но тут увидел помертвевшее лицо Антона: он не выносил, когда курили в его постели. Остальные постели его просто не интересовали.

До этой минуты Никита и не пытался рассмотреть девушку, он воспринял ее как нечто хорошо знакомое, но чужое, вроде наволочки на подушке Антона. Наверное, приятель менял их, просто расцветки были похожими, но Никите казалось, что именно этот квадрат ситца он видел уже десятки раз. Стоило ли в него всматриваться?

Только слабенькая, но все же шевельнувшаяся у сердца жалость к этой девушке, уже отвергнутой, но еще не догадывающейся об этом, заставила

Никиту вглядеться повнимательнее. Солнечный свет легко золотился на ее челке, как у пони свесившейся набок, потому что девушка опиралась на локоть, повернувшись к ним. У нее были очень пухлые, почти не загорелые плечи, обещавшие грядущую полноту, которая могла оказаться чрезмерной даже для Никиты. Впрочем, он смотрел на ее полуприкрытое тело совершенно бесстрастно, испытывая только сочувствие к человеку, который лишился чего-то большого, едва обретя, и произошло это просто по глупости.

«Вот как раз тот случай, когда никотин действительно убивает, – подумал он с иронией, в которой не было издевки. – Хотя, может, Антон и не значит для нее так много, как мне придумалось…»

– Пойдем на кухню, – попросил он, отвернувшись от девушки, которую уже начал беспокоить его взгляд.

Очнувшись, Антон сразу начал вопить:

– Ой, господи, ну конечно! Я ж на полсекунды тебя сюда… Пойдем, пойдем. Ты давно дома? Чего не позвонил? Кофе будешь?

– Буду. У отца не оказалось.

На миг Антон застыл, не донеся банку, на крышку которой охотно прыгнул солнечный зайчик.

– У отца?

– Я у него ночевал. Я вчера выписался.

– Ага, – протянул Антон, потом заговорил весело, то и дело оборачиваясь к приятелю: – Не самый плохой опыт, между прочим. Каждый поэт обязан пройти или через тюрьму, или через дуэль, или…

– Я должен был вызвать его на дуэль, – криво усмехнулся Никита. Оказалось, что говорить об этом еще больнее, чем думалось.

В который раз обернувшись, Антон посмотрел на гостя с состраданием:

– Ты? Какая дуэль, что ты!

– А почему бы нет? Уверен, что ты так и…

– Я никогда не говорил тебе? Ты сам, наверное, и не замечаешь… У тебя детская голова…

– Что-что?!

– Круглая. Как у ребенка. С такой формой черепа невозможно убить человека. Вообще драться. Какой же смысл тогда в дуэли?

Подавив желание ощупать свою голову, Никита пробормотал:

– Дети дерутся чаще взрослых.

– Это не драки. Это взросление, – назидательно произнес Антон. – Когда младенец лезет на свет из утробы, он ведь тоже лупит мать почем зря.

– А я поседел… Ты не заметил?

– Да я чуть не ахнул! – откровенно признался Антон и без предупреждения включил кофемолку.

То, что этот звук не напугал, подействовало на Никиту удручающе: «Я все еще заторможен… Наверное, это бросается в глаза. Чужие могут принять меня за наркомана. А кто я для своих?»

Высыпав образовавшийся пахучий порошок, Антон громко потянул носом и улыбнулся:

– Я боялся, ты задергаешься, если я скажу что-то про твои волосы. То есть дело не в волосах, само собой…

– Я не хотел быть поэтом, – вздохнул Никита, водя пальцем по черным штрихам на крышке стола. – И я не хотел ни тюрьмы, ни сумы, ни желтого дома… Тут

вообще не во мне дело.

– А кто она? – спокойно спросил Антон, не пытаясь поймать его взгляд. – Я ее знаю?

– А сразу понятно, что есть Она? Ну да, наверное. Она появилась, и со мной стало твориться что-то невероятное… Стихи вот так и полезли…

– Да ты ведь всегда писал! Ты ведь для себя и придумал «Богему».

– Это ты ее придумал. Но, в общем, да… Что-то я писал. Чуть-чуть. Это ведь было не всерьез, так… выплески. А когда я ее увидел, меня как прорвало. Вот, точно! – оживился он. – Прорвало! Но в больнице меня подлатали. Чтоб не выделялся. Так что… Кончено.

Поставив перед гостем белую чашку, в которой красиво покачивался черный глянцевый круг, Антон спросил:

– Что именно кончено?

– Всё. Стихи. Наваждение это. Раз уж меня откачали, значит, нужно вернуться к самому себе. Каким я был…

– Да ты и впрямь свихнулся! – Антон сел рядом и сердито мотнул вытянутой головой. Никита по глазам понял, что друг и в самом деле сердится – они стали серыми и совсем маленькими.

– Именно от этого меня и лечили два месяца, – напомнил он.

Антон кивнул:

– Видно, не зря болтают, что в этих заведениях из просто несчастных делают полных идиотов. Ты что несешь? Тебе Господь Бог дает такую возможность проявить себя, а ты от всего отречься собрался?

– Проявить? – Никита вынудил себя усмехнуться. – Да в чем? Мои стихи уже изданы, забыл?

– И что с того? Все потеряно?

Одним глотком выпив весь кофе, Антон рассерженно звякнул чашкой:

– Ты же драться должен за эти стихи! Это ведь как ребенок… Ты что, не полез бы рушить стены, если б у тебя ребенка украли?

Мгновенно представив Муськину мордашку, Никита передернулся, отгоняя даже возможность такого видения.

– Конечно, полез бы, – ответил Антон за него. – А тут чего скис? Да мы все пойдем в суд, если на то пошло! Я так с превеликим удовольствием. Такую сенсацию устроить можно!

– Спасибо, – сказал Никита, хотя и не думал соглашаться.

Оттолкнув жалобно задребезжавшее блюдце, Антон рыкнул:

– Подумать только, эту сволочь я сам же и привел в «Богему»!

– Все его жалели, – напомнил Никита. – Он ведь таким несчастненьким выглядел… Ты не знаешь, почему у него такой сиротский вид? Я никогда его ни о чем не расспрашивал. А может, надо было…

Антон отрезал:

– Вот еще! Профессиональный нищий, вот он кто! Они умеют разжалобить. А потом оберут тебя до нитки и не заметишь – как. Так что нечего с ним церемониться! Это не тот случай, когда надо другую щеку подставлять. Будь моя воля, я б ему руки поотрубал, чтоб не тянул к чужому!

– Ты? – Никита засмеялся. – Ну-ну…

– А что – «ну-ну»?

– Ты б его пожалел.

– Ну, – он подмигнул ямочками, – руки, может, и не отрубил бы… А вот стихи у него были безнадежные! Вот я – тоже бездарь! Но не завистливый. А он…

– Да не в нем дело, – кофе обжег Никите нёбо, и он говорил, слегка морщась: – Понимаешь, там… в больнице… Я понял, что, может, как раз это посылает мне Бог. Это, а не стихи. Чтоб я одумался наконец. Опомнился. У меня ведь семья. И я люблю их! И Таню, и Муську…

– Я знаю, – хмуро подтвердил Антон и вдруг, прислушавшись, с раздражением прошипел: – Нет, подумать только, эта дура уже в подъезде сигареты клянчит.

«Больше не кысонька!» – это развеселило Никиту до того, что стало легче говорить.

Тут же заметив, как заблестели у друга глаза, Антон махнул рукой и рассмеялся:

– Да ну тебя! О чем мы? А… Это ты все правильно говорил, только ты смешиваешь разные вещи.

– Какие вещи? – удивился Никита.

– Земную любовь и космическую. Они ведь обе могут жить в тебе, не мешая друг другу. Я же не подстрекаю тебя разводиться из-за той женщины, упаси бог! Такую Таню еще поискать… А ту, кстати, как зовут? Ну ладно, неважно.

«Важно, – возразил Никита про себя. – В ней все для меня важно».

– Лина, – сказал он, поколебавшись не больше пары секунд.

Антон многозначительно кивнул:

– Ага. Красиво. Так что я хотел сказать… Ты ведь слышал толкование на счет того, что самым большим грехом считается, если человек отречется от своей любви? Любовь – это Бог. Бог – это Любовь. Ты пытаешься отречься от Бога?

– Не морочь мне голову! – рассердился Никита. В голове у него возмущенно зашумело, и он испугался того, что это приснившаяся буря напоминает о себе. Может, она бушует где-то поблизости, на грани реальности и бреда, готовая прорваться в любой момент.

Заставив себя говорить спокойнее, он тихо спросил:

– А прелюбодеяние уже не входит в список смертных грехов?

– Так ты с ней…

– Да нет. Но я же хотел этого! Какая, к черту, космическая любовь! Я ее мысленно раздеваю каждый вечер…

– Ну и продолжай в том же духе!

– Да не умею я жить во грехе! – Никита почувствовал странную неловкость за себя. – У меня ведь как-то раз случилось такое… Ну, как говорится, на стороне… Так я потом места себе не мог найти.

Светлые брови Антона медленно поползли вверх:

– Почему?

– Это ты – полный идиот! – засмеялся Никита. – Наверное, ты действительно этого даже не поймешь… Я себя преступником чувствовал. Хоть Таня ничего и не узнала, все равно. Но это… с Линой… в тысячу раз тягостнее.

– Да почему?!

– Черт побери! – заорал Никита. – Ты иногда становишься непроходимо тупым. Да потому тягостнее, что это измена души. Тело – черт с ним! Оно смертно.

С жалостью оглядев друга, Антон вздохнул, сдув со стола целую горсть крошек:

– Не долечили тебя… Ты несешь полную чушь. Эта женщина послана тебе, как само Вдохновение, а ты пытаешься ей рога и копыта приставить. Ну, изгонишь ты ее из своей драгоценной души, и с чем останешься? Опять вернешься в толпу? Я вот и не выходил из нее, ничего веселого, уж поверь мне…

– Думаешь, я чем-то выделился из толпы?

– Ты? Да я молиться на тебя готов был, когда ты свои стихи читал!

Никита с недоверием наклонил голову:

– Что-что?

Легонько толкнув раскрытой ладонью его лоб, Антон застенчиво усмехнулся:

– Ты и не знал… Ничего ты не замечал, потому что в тебе был собственный мир, это сквозь тебя так и просвечивало. Вот во мне этого нет. И в подонке в этом, в Алешке, нет! Может, он за это тебя так и возненавидел. А может, возлюбил… Но ты не заметил. А я вот слушал тебя и молился: «Господи, пошли же и мне такую же любовь! Тогда я тоже смогу подняться над собой…» Вот так-то, приятель. Наверное, какой-нибудь умник стал бы тыкать тебя носом во всякие погрешности, но я этого не замечал. Вот, что тоскливые они у тебя просто жутко, это уж точно! Как у Пьеро. Помнишь такого? Этот клоун тоже умел любить. И ты умеешь. Значит, ты – избранный. Как ты можешь от этого отказаться?

– Я не отказался бы, – шепотом ответил Никита. – Если б мне хоть немного меньше хотелось бы, чтоб и меня тоже любили. Она любила. Понимаешь, мне мало вдохновляться ею и писать о ней. Я был бы счастлив, если б мне этого хватало!

Придвинув чашку, Антон заглянул в нее и взболтал остаток кофе. С выражением человека, который не верит своим глазам, он сказал:

– Ни одна, даже самая грязная скотина, не посмела возжелать Деву Марию.

– Потому что все знают, что это – Дева Мария. Но к Лине я не могу относиться, как к Деве Марии. Да о чем ты вообще говоришь?! Она ведь живая женщина! У нее обручальное кольцо на пальце, так что никакой непорочности и быть не может. Но если в ее жизни есть мужчина, то почему это не я?

– И впрямь. Человек сто, если не больше, думают о том же, представляя твою жену.

– Я и не сомневаюсь, – поморщившись, отозвался Никита.

В его памяти вдруг болезненно-яркой вспышкой высветился тот день, когда Никита впервые побывал на репетиции Таниного ансамбля. Тогда она еще не была художественным руководителем «Пласта», просто танцовщицей. Репетиция оказалась генеральной, Никита уселся посреди пустого зала, подальше от принимавшей программу коллегии. И потом все думал: «Хорошо, что со сцены невозможно было разглядеть мое лицо».

Он чувствовал себя раздавленным. Таня предупредила, что танцует в блестящем бикини, но забыла упомянуть, что ткань будет телесного цвета… У него осталось ощущение, что жена на его глазах целый час занималась любовью, меняя партнеров, а ему оставалось только смотреть на это, как дряхлому извращенцу.

До сих пор Никита был убежден, что никто не унижал его с большей радостью, чем Таня в тот самый день. В каком-то первобытном экстазе она запрокидывала голову, становясь неуловимо похожей на вакханку Скопаса, и Никита чувствовал, что ему просто нет места в море захлестнувшей ее страсти. А своего моря у него тогда еще не было…

Музыка входила в ее тело дрожью, и все в зале улавливали, заражались этой вибрацией – болезненно-сладкой, изнурительной. Но Таню она не утомляла. По крайней мере, Никита не заметил в ней усталости, когда Таня выбежала к нему на крыльцо, растрепанная и счастливая: «Ну как?»

Он сказал то единственное слово, которое могло хоть как-то отразить, что творилось у него в душе и вместе с тем не оскорбить жену. «Потрясающе», – пробормотал он, впервые не находя в себе сил посмотреть на нее. Никита все еще видел чужие голые колени, которые Таня зажимала ногами…

– Ты уже готов уступить ее другому?

Он медленно повторил, не веря тому, что услышал:

– Что-что? Уступить другому?

– А ты думал! – с неожиданной злостью отозвался Антон и перешел на яростный шепот: – Да я первый в очереди претендентов! У тебя, оказывается, не только снаружи голова детская, но и внутри…

– Так ты… ее… – он заметил, как сжались кулаки и сам удивился этому.

– Ага! Поглядите, вот тут он готов драться! Власть земной любви покрепче будет? Или ты рассчитывал, что Таня лет пятьдесят будет оплакивать твой уход? В одинокой, остывшей постели…

– Я тебя не пойму, – устало признался Никита. – Ты будто злишься на меня за что-то… Но мне непонятно – за что?

– Не долечился потому что, я же говорю.

– Ты меня выведешь…

– Так ты ночевал у отца? Как говаривал один из бывших президентов: и это правильно! Не возвращайся к Тане.

Никита выпрямился:

– Что-что?

– По-настоящему ты все равно уже не сможешь вернуться.

– Понятно.

Стараясь ничего не задеть и не сломать, Никита осторожно поднялся, совершенно оглушенный звуками разгулявшейся бури.

– Вот к чему эти разговоры о космической любви! – Он старался говорить весело, но возле губ все время что-то дергалось. – Ты просто пытаешься выпихнуть меня из дома, чтобы забраться в постель к моей жене.

Ничуть не обидевшись, Антон погрозил пальцем:

– Эй, приятель! Не притягивай за уши. Вспомни, о чем я говорил: земная любовь и космическая вполне могут уживаться. Если б я подстрекал тебя к разводу, то сказал бы совсем другое.

– Все это брехня! – отрезал Никита. – Наверняка мужу Лины я наболтал бы что-нибудь в этом же духе.

– Куда ты пошел? Хочешь правду?

– Не хочу, – буркнул Никита, скрываясь в маленьком и темном, как наперсток, коридоре.

Не выходя из кухни, Антон прокричал:

– Ты придумал эту Лину, чтобы ею прикрыть свою несостоятельность!

– В чем? – обуваясь, спросил Никита.

– В той самой чертовой любви! Ты глаза-то раскрой! Рядом с тобой – потрясающая женщина. Просто обалденно красивая!

Никитин смех, как внезапно образовавшаяся воронка, вытянул Антона из кухни. Нависнув над другом, он процедил:

– А ты, как последний импотент, уходишь в фантазии, чтобы вдохновляться.

– Пошел ты к черту, – Никита выпрямился и увидел знакомые ямочки. – Чего ты смеешься? Так ты пытаешься меня долечить? Займись лучше тем, что у тебя получается, а то твоя кысонька уже литр никотина высосала.

Девушка незамедлительно отозвалась из постели:

– Не твоя забота!

– Да уж слава богу! – обернувшись к Антону, Никита торжественно вскинул руку: – Прощай, покойная «Богема»!

– «Богема» не умрет без одного идиота, – огрызнулся хозяин дома и вдруг воскликнул с детским отчаянием: – Дурак, я так ждал тебя! Думал, мы устроим грандиозное судилище…

Уже взявшись за ручку двери, Никита напомнил, поглаживая большим пальцем холодную скобу:

– Ты ни разу не пришел ко мне в больницу.

– Ой, ну что ты! Такое место… Меня туда только в смирительной рубашке можно доставить. Ты прости, приятель… Я с этим даже и сжиться-то не успел. Вообще не думал, что с тобой такое может приключиться! Ты ведь среди нас самым уравновешенным казался… И вдруг – психушка… Если б ты ногу сломал, я торчал бы у тебя сутками!

– Очень надо… Зачем ты сказал это? Про Таню.

– Не знаю… Но ты ведь сразу очнулся, правда?

«Правда», – подтвердил Никита уже на улице. Остановившись у подъезда, он подставил лицо с трудом пробившемуся к людям солнцу и зажмурился. Он думал совсем не о Тане и ни о ком другом. В мыслях крутилось лишь: как повезло – сейчас лето, и нет занятий в институте. Значит, остается шанс, что никто не узнает о его болезни, как Таня не узнала о содержании стихов.

«Кто-то оберегает меня и скрывает от посторонних именно то, что я хочу скрыть», – только сказал себе Никита и сразу почувствовал в этих словах неправильность. Таня не была посторонней ему. И не стала бы, даже если б он действительно к ней не вернулся.

Он задумался: «А я могу к ней не вернуться?»

Никита понимал: точный ответ станет известен, только если действие окажется совершенным. То, что вчера он даже не сообщил ей о выписке, еще ничего не значило. Ему просто было не под силу разом впустить весь этот мир. И он решил вкратце повторить тот путь, что уже прошел за эти тридцать шесть лет, постепенно наполняясь. А значит, начать следовало с родительского дома.

Теперь дом тоже оказался не тем, ведь в нем не было матери, и Васька жила отдельно со своим полумужем. Вместо них появились кошки, и Никита думал, что так лучше, чем если б свято место оставалось пустым.

«Может, и вправду он разговаривает с мамой с их помощью», – подумал Никита об отце. А следом увидел лицо матери, каким оно было до того, как у нее начался острый диабет. Ему до сих пор не давало покоя то, что это он чего-то не сделал, чтобы спасти ее. Не достал лучших лекарств. Не нашел того единственного врача. Заработал слишком мало денег…

Она шептала ссохшимися губами, на которых то и дело выступала кровь: «Маленький мой… Любимый мой мальчик…» Никита плакал так, будто и вправду опять превратился в мальчика. Почему-то он не боялся огорчить ее своими слезами, хотя тогда и не задумывался об этом, просто плакал и все. А позднее решил, что умирающему уже не могут навредить слезы близких. Может, в этом и заключается последняя радость: своими глазами увидеть, как тебя любят и не хотят отпускать.

«Ей бы я рассказал, – ему и сейчас захотелось заплакать. – Она всё во мне принимала. Никто меня так не любил… Разве жена может хотя бы выслушать о любви мужа к другой? Или наоборот… Этого не изменить: любовь женщины к мужчине обретает Божественное значение, только если это любовь матери к сыну. Тогда в ней есть и жертвенность, и всепрощение, и…»

Он не успел закончить фразу, внезапно увидев ту, чью любовь только что пытался развенчать. Таня не просто шла к нему, она бежала и на ходу выкрикивала, сияя по-восточному ослепительными зубами:

– Ты здесь! Я так и знала! Отец сказал, что ты ушел, и я сразу поняла, что ты пошел в «Богему»!

«Мой отец», – впервые в нем проснулась эта мальчишеская ревность. Не придав ей значения, Никита сказал:

– Там никого нет. Я заходил к Антону.

Таня сумела остановиться в шаге от мужа, и загорелое лицо ее вопросительно дрогнуло. Кажется, она собиралась броситься ему на шею и не могла понять, что ей помешало.

«Это я ее остановил, – подумал Никита с некоторым страхом. – Господи, неужели я совсем не рад ее видеть?»

– Почему ты сбежал, Адмирал?

Она снизу заглядывала ему в лицо, пытаясь пробиться с помощью этого школьного прозвища – от фамилии Ушаков.

– Я не сбежал. Меня выписали. Все, как положено. А что, они организовали погоню? У них там, наверное, целая псарня страдающих бешенством овчарок…

– Почему ты не поехал домой? Я утром пришла в больницу, а мне и говорят, что ты ушел еще вчера.

«Представляю, как она себя чувствовала!»

– Я…

Кляня свое малодушие, Никита взвыл про себя: «Не могу я этого сказать!»

– Адмирал, неужели ты подумал, что я отрекусь от тебя из-за того, что ты заболел?

Он даже не уточнил, как обычно: «Что-что?», сраженный этой мыслью, которая почему-то даже не приходила в его больную голову. Только сейчас Никите стало приоткрываться, каким непроходимым эгоизмом было все, что он творил и думал до сих пор, а ведь в глазах всего мира не он, а Таня приносила жертву, оставаясь с мужем, который хоть на время, но все же потерял разум.

– О боже! – вырвалось у него. – Я и вправду стал идиотом!

– Никакой ты не идиот, – она ласково взяла его за руку, тоненькая и совсем юная в коротких шортиках песочного цвета и белой маечке.

Таня потянула его, и он пошел, не сопротивляясь, все еще оглушенный этим неожиданным открытием. Ее голос стал счастливым и прозрачным, как утро, в которое она вводила его – подслеповатого и беспомощного. То и дело прижимаясь щекой к его плечу, Таня быстро-быстро говорила о том, что должно было отвлечь его, как зачастую внешний мир без труда отвлекает от происходящего внутри нас:

– Смотри-ка, солнце все-таки выползло! А ведь всю неделю дождь лил. Но тепло было! Тебе не жарко в этих брюках? Пойдем домой, переоденешься. И сходим куда захочешь.

– Я никуда не хочу, – сказал он больше себе самому.

– Еще лучше! Посидим дома. Муська сейчас у моих, побудем пока вдвоем. – И вдруг спросила, поразив Никиту еще больше: – Ты будешь подавать в суд?

Он сперва подумал, что она говорит о разводе, но сразу понял, насколько это абсурдно.

– Ему много присудили бы еще и за моральный ущерб… – продолжила Таня.

– Разве деньгами что-нибудь можно компенсировать?

Никита остановился. Якобы для того, чтобы завязать шнурок, на самом же деле ему уже невмоготу были Танины прикосновения. Они вызывали в нем непрекращающиеся приступы отвращения к самому себе. Он и не представлял раньше, что такое возможно.

– Ты знаешь, что у него порок сердца? – сказала она.

– Порок? Похоже на то… У тебя его не оказалось.

Непонимание делало ее лицо напряженным и острым. Таня уже не помнила того, о чем он говорил.

– В школе… Ты потеряла сознание, помнишь?

– А-а… Это…

– А потом все оправдывалась: «У меня не порок… Не порок».

Она чуть приподняла плечи:

– Может быть… Ты так хорошо это помнишь?

– Кроме тебя, никто не лишался из-за меня чувств.

У нее некрасиво дернулись губы – ярко-красные, как цветок мака. Если б Таня зацеловала его с ног до головы, он стал бы похож на цветущее поле.

– Лишилась чувств? – повторила она голосом, показавшимся Никите незнакомым. – Это ты в самую точку…

– Ты о чем?

Она отвела взгляд и поверх его плеча посмотрела на дом, от которого они уходили.

– Твоя «Богема» потихоньку помирает…

Никита рассмеялся. Не словам, а той старушечьей интонации, с которой они были произнесены.

– Не помрет! За это время она научилась существовать без меня.

– Но ты ее прикончил.

– Чем это? – удивился он. – Моя болезнь не заразна.

Таня взглянула ему в глаза только мельком, но на этот раз с тем трудно переносимым сожалением, которое Никита то и дело замечал в самом начале своей болезни.

– Пойдем домой, – снова предложила она.

И он почему-то согласился, хотя жена открыто уходила от разговора.

– Я хочу на Кипр, – неожиданно сказала Таня, в очередной раз сбив его с толку. – Хочу носить цветастую юбку, такую, чтоб распахивалась при ходьбе. И огромную соломенную шляпу. И чтоб соль выступала на коже, а ты слизывал бы ее.

Это прозвучало жалобно, а Никита почему-то разозлился. Оглядев стену длинного розового дома, снизу выложенную грубо отесанными камнями, которые, верно, и направили Танины мысли в южном направлении, он сухо заметил:

– Не повезло тебе с мужем. Я никогда не смогу свозить тебя на Кипр.

«И ведь ей это известно… К чему тогда весь этот разговор?»

– Нам может быть весело не только на Кипре.

– Зачем же тогда ты хочешь на Кипр?

– Не хочу я на Кипр! Я просто хочу, чтоб нам было весело. Как раньше.

– Нам было весело?

– А разве нет? Вспомни, как ты дурачился с Муськой… Как мы с тобой зарывались в сено… А как отплясывали в твой день рождения! Ведь настоящий карнавал устроили, прямо как в Рио-де-Жанейро.

– Ты танцевала лучше всех…

– Когда это было?

– Три года назад, – ответил он с точностью, которая могла показаться неправдоподобной, но для него была естественной. Тогда начался отсчет нового времени.

Таня громко рассмеялась:

– А! Все-таки помнишь!

– Таня, – начал он и запнулся.

Она сразу перестала смеяться, хотя Никита ничего еще не успел сказать. Когда у нее вытягивалось лицо, щеки становились впалыми, будто от тревоги она худела на глазах. Таня не спрашивала, что он хотел сказать, а Никита ждал этого, чувствуя, что лишь закинутый ею крючок вопроса может вытянуть из него то главное, что, будучи невысказанным, стояло между ними, мешая разговаривать по-человечески.

Таким же – мгновенно иссохшим от страдания – стало ее лицо в тот день, когда Никита по-настоящему увидел ее, хотя Таня встречалась ему уже сотни раз. Тогда для него прозвучал последний школьный звонок. По случаю праздника его одноклассницы неожиданно нарядились в короткие форменные платьица, которые неизвестно где раздобыли. Всех ребят так и начало лихорадить от возбуждения, ведь вдруг выяснилось, что у некоторых девочек такие ножки, на которых и ходить-то преступно – на них можно только смотреть или гладить.

И Никита ошалел до того, что именно это и сделал, даже не замечая, как заусеницы опасно цепляются за тонкий капрон. Кажется, он все же ничего не

порвал тогда, а если б это и случилось, то и девочка, скорее всего, ничего не заметила бы: так исступленно они целовались, неумело кусая губы друг друга… Никита даже не услышал, что позади приоткрылась дверь, ведь его пальцы как раз нащупали влагу, значение которой он не сразу и понял.

До его сознания медленно дошло, что за спиной послышался вскрик и удар. А когда он все же нашел в себе силы обернуться, сперва слепо обшарив взглядом открывшийся в дверном проеме коридор, то увидел на полу только что поздравлявшую его восьмиклассницу. Девочка была очень тоненькой, с трогательными темными косичками и испуганными глазами, но Никита только наспех улыбнулся ей и сказал: «Спасибо». И снова скосил глаза на припухлые коленки той самой одноклассницы, с которой и спрятался на лестничной площадке.

Еще не освободившись от возбуждения, он присел рядом с рухнувшей на пол Таней и чересчур громко спросил:

– Это что? Обморок?

– Может, она умерла? – не особенно испугавшись, спросила его подружка.

Эти слова немного привели Никиту в чувство, ведь он был в том возрасте, когда над смертью насмехаются вслух, только чтобы заглушить просыпающийся в душе ужас. Он думал, что это же самое происходит со всеми его ровесниками, и они также отгоняют ночами черные, обдающие то холодом, то жаром мысли: «Нет-нет, не думать об этом! Только не думать…»

Но безразличный тон девочки, на которую он только что был готов променять весь этот мир, убедительнее всяких слов доказал, что не существует никакого Единого Разума Поколения, которое и само по себе – сплошная условность, а внутри него все ощущения и надежды разнятся так же, как и у людей, не близких по возрасту.

– Беги за врачом! – сердито крикнул Никита, больше не замечая ее ног, которые не стали хуже. – Или в учительскую… Вызови…

Он не добавил – кого. Это и так оказалось ясно, потому что девочка исчезла, не переспросив. А Никита, отыскивая пульс, впился подушечками пальцев в

запястье – такое тоненькое, что, казалось, ничего не стоило переломить эту хрупкую косточку. Танины руки оставались такими же до сих пор, хотя со времени последнего звонка прошло почти двадцать лет. Но годы ничего не украли у Тани – ни красоты, ни свежести. Пожалуй, только добавили яркости и уверенности в себе. Она больше не была той безмолвной девочкой со слабым сердцем, которая могла потерять сознание лишь от того, что мальчик, которого она искала глазами каждую перемену на протяжении восьми лет, так бездумно, повинуясь одной только природе, предпочел ей другую. Когда они оба почувствовали, что теперь они вместе, мир перестал их пугать.

Но тогда в школьном коридоре, который был незнакомо, зловеще тихим и этим страшил еще больше, Никита так и обмирал при мысли, что девочка умрет прямо у него на руках.

– Вот черт, черт! – жалобно шептал он, то порываясь вскочить, то припадая к ее почти мальчишеской груди. – Что же делать-то?

Не придумав ничего лучшего, Никита попытался сделать искусственное дыхание, коротко удивившись тому, что физическое волнение еще не оставило его. А в следующую секунду был поражен еще больше, потому что Таня вдруг очнулась и застонала с такой взрослой прочувствованностью, будто он целовал ее, а не отхаживал. И хотя вокруг ее губ все еще был синеватый треугольник, Никита внезапно увидел в ней то, чего не мог заметить даже на расстоянии руки. Оказалось, что для этого было необходимо приблизиться к Тане вплотную.

Она выглядела такой несчастной, когда, жалко скрючившись от стыда, пролепетала несколько не связанных падежами слов оправдания, почему с ней это случилось. Но тут же прибежали врач, и учителя, и ребята из его класса… Им Таня что-то твердила про слабое сердце, а Никита стоял, отвернувшись к окну, и пытался справиться с губами, которые расползались в идиотской улыбке: «Из-за меня можно лишиться чувств! Вот здорово!» А Таня в это время повторяла: «Но это не порок… Не порок…» Услышав это, он мысленно согласился: «Конечно, нет. В тебе нет ничего порочного».

Он и сейчас продолжал верить в это, хотя и не мог изгнать из памяти тот день, когда увидел, как почти обнаженная Таня скользит, изгибаясь, по чужому телу. В ее движениях было столько страсти, что Никита даже растерялся. Он не знал, что может противопоставить этому мощному зову греха, веселившему людей на сцене. То, как Таня прогибала узкую спину, откидывая волосы, как взлетали ее

руки и медленно расходились колени, было знакомо Никите. Но до того дня он думал, что это знакомо ему одному. Оказалось, он делил жену с целым светом.

Пытаясь внушить себе, что это говорит в нем ребяческий эгоизм, Никита ни разу не произнес ни слова упрека, но старался как можно реже бывать на выступлениях «Пласта». Только если совсем уж неловко было отказаться. Но избежать Таниного танца в день своего тридцатитрехлетия он просто не мог.

«Может, я просто был заражен Таниной страстью, когда увидел Лину? – пытался понять он. – Я переполнился ею… Она так самозабвенно танцевала… Что это значило для нее? Может, тоже предчувствие? Может, она уже пыталась меня удержать? Хотя уходить я еще и не собирался… А сейчас разве собираюсь?»

– Таня, я хочу пожить у отца, – выпалил он так неожиданно, что даже сам испугался.

Она остановилась и посмотрела мужу в лицо. Никите показалось, что жена не выглядит особенно потрясенной.

– Это ведь не из-за того, что я сболтнула про Кипр? – ничуть не изменившимся голосом спросила она.

– Нет. Я просто должен…

– Разобраться в себе, – перебила Таня. – Все обдумать. Так всегда говорят, когда не хватает духа сказать все, как есть.

– А как есть? – спросил Никита. – Ты знаешь? Я – нет.

Ее усмешка вышла дрожащей:

– Да все очень просто, зачем ты прикидываешься? Если человеку хочется жить отдельно от другого, значит, он его больше не любит.

– Так просто… Ты очень мудрая! Когда-то мне захотелось жить отдельно от родителей, но это не значило, что я их разлюбил.

– Но я тебе не мать! – выкрикнула она, уже не сдерживая отчаяния.

– Да, ты мне не мать.

Не понижая голоса, Таня проговорила:

– Ты женился на мне только потому, что я потеряла из-за тебя сознание. Я просто поразила твое воображение! Оно же у тебя вечно требует какой-то необычной пищи…

«О чем это она?» – насторожился Никита.

– Если б я просто прислала записку, ты поржал бы с мальчишками в туалете и выбросил бы ее!

Поморщившись от слова «поржал», Никита все же согласился, что, скорее всего, так и вышло бы. Не сейчас, конечно, а тогда…

– Таня, – негромко позвал он, приготовившись задать главный вопрос. – А если б сейчас ты увидела, как я целую другую, ты упала бы в обморок?

– Садист, – сказала она и улыбнулась, чтоб Никита не подумал, что она отвечает так со злости. – Нет, Адмирал… Сейчас вряд ли…

* * *

То и дело стекло иллюминатора начинает расплываться и уродливо кривиться, меняя форму. Исчезающими и снова появляющимися углами оно впивается в мое сознание.

Мой мозг сопротивляется. Он не может без борьбы принять неправильность такого формотворчества. Круг не должен становиться прямоугольником. Хотя и может это сделать, как паутина способна затвердеть стеклом.

Пальцами удерживая набрякшие сном веки, я пытаюсь следить за происходящим. И уже не пугаюсь, увидев, что стекло стало неотличимым от миллионов других, пропускающих свет в квартиры, в аудитории, в палаты…

Мысль о палате кажется мне знакомой, и вспоминается имя Чехова. Но я знаю, это не то имя, что повело меня на край света.

Однажды этот свет опустел… Осталось женское лицо на экране и голос: «Опустела без тебя земля…»

Но это не то лицо, не тот голос. Хотя слова придуманы вроде бы мной. Только это лицо на экране, оно и не мое тоже.

Я не помню, как начался мой путь за этим именем, за этим лицом, за этим голосом. Но я вижу, куда они меня завели. Я в клетке. Мне больше не мерещится паутина, налипшая на прутья. Я знаю, меня опутала любовь.

Это слово пробилось сквозь толщу невидимой воды, все еще отделяющей меня от людей. Оно одно преодолело этот барьер, что становится то вязким, то упругим, как тягучая прозрачная резина. Но одинаково непроходимым.

Как же она пробралась ко мне, эта любовь? Спасти она пришла или добить? Во мне и без того уже не много жизни. Я не хочу ее. Я изгоняю ее из себя.

А она цепляется за эту непрошеную спасительницу, которая сперва завела меня на край света, где существует только одно окно, а теперь удерживает, горячо дыша в темя.

Внутри нее – всегда жар. Он вливается в мою голову, и мысли плавятся, не успев оформиться. Я не успеваю пожалеть о них, потому что время летит слишком быстро. Целые месяцы укладываются в пять минут. Я сижу у окна, а в это время со мной происходит так много событий, что их хватило бы на целую жизнь.

Можно попробовать рвануться за ними следом. Попытаться догнать и влиться – в свое время. В свою жизнь. И может быть, даже в свою любовь.

Но я не двигаюсь с места…

* * *

Она всегда знала, что этот день придет. Она думала о нем так часто, что, возможно, он просто сложился из тех секунд и минут, которыми были заполнены эти мысли. Однажды Никита должен был сказать «я ухожу», потому что по-настоящему он никогда и не приходил к ней. Не выбирал ее.

Почему он не сделал этого в шестнадцать лет, ведь Таня уже тогда была ярче многих девочек? Почему он не хотел выбрать ее сейчас? Она знала, что нисколько не постарела. Да что там! Против себя же пятнадцатилетней она стала сейчас лебедем в сравнении с утенком, который гадким никогда не был, но именоваться прекрасной птицей в то время еще не мог.

Весь ужас положения заключался для Тани в том, что у ее мужа был непритязательный вкус… Он предпочитал всем другим цветам ландыши и ромашки и любил песни с гармоничными, красивыми мелодиями. Джаз ошеломлял его, но не восхищал. А розы казались Никите чересчур изощренными, чтобы заслуживать такого великого в своей простоте чувства, как любовь. Хотя Тане он почему-то всегда приносил розы…

«А почему?» – задумалась она только теперь, прислушиваясь к тому, как Никита собирает вещи. Наверное, следовало бы думать о другом, о чем-то более важном, но Тане не удавалось освободить свои мысли от этих колючих цветов. То, что Никита любил одни, а ей дарил другие, впервые показалось слишком явным доказательством того, что муж никогда и не собирался пускать ее в свою душу.

Когда-то ей удалось схватиться за его руку, ведь Никита был не из тех, кто не протянет ладонь потерявшему сознание. С тех пор они шли рядом, но оказалось, что он так и не перешагнул некую незримую линию, которая оказалась неприступней самой неприступной границы.

Она опять спрашивала себя: «Почему?» Уже не о цветах – обо всем. О каждом дне из прожитых вместе шестнадцати лет. Сам по себе срок казался чудовищно долгим, но Таня не ощущала усталости. Она готова была пройти еще два… три раза по столько! Лишь бы Никита оставался рядом.

С незнакомой себе самой отстраненностью от происходящего Таня подумала, что точно такими же переживаниями полны, наверное, все женские романы. Наверное – потому, что она их не читала. Таня была человеком действия и предпочитала детективы, убеждая и Никиту, что они больше «отвлекают». Иногда он спрашивал: «От чего?» И смеялся, когда она терялась.

Те книги, что Никита приносил для себя, Таня тоже иногда прочитывала. Но после них становилось слишком тяжело: их герои страдали и метались, даже если при этом годами оставались на месте. Тане было страшно подумать, что Никита может находить в этих изнывающих от бездействия людях что-то общее с собой.

А сейчас она готова была в кровь расцарапать себе лицо в отместку за то, что не насторожилась вовремя, не уловила его волну, которая, оказывается, все сильнее шла вразнобой с ее собственной. И, в конце концов, они столкнулись, а Таня и этого не заметила…

То, что Никита не вернется домой, она поняла еще в больнице. Он смотрел на нее чужими, совсем больными глазами, а Тане все время чудилось, что на ее месте муж видит кого-то другого. Другую. Это ей Никита хотел сказать: «Мне так плохо… Я никому и объяснить не могу, как мне плохо… Но ты ведь понимаешь».

– Кто она? – спросила Таня, продолжая смотреть в окно, возле которого уже простояла дольше, чем за всю жизнь в этой квартире. Она не могла знать, что Никита уже не первый раз за день слышит этот вопрос. Но сейчас его бесцеремонно заглушил звук трамвая, похожий на зов несостоявшихся путешествий.

– Что-что? – как всегда переспросил он. – Ты что-то сказала?

– Я спросила. Я ее знаю?

– Кого?

– Ты же понимаешь!

Никита терпеливо повторил:

– Я буду жить у отца. Это правда, Таня.

«Макушки у берез совсем желтые, а ведь до осени еще о-го-го сколько!» – вдруг заметила она и хотела сказать об этом Никите, как говорила всегда обо всем, но вспомнила, что уже не сможет к нему пробиться. Береза не слишком прочное дерево… Если б под их окном рос баобаб, вполне возможно, жизнь сложилась бы иначе.

– Почему, а? – с тоской произнесла Таня, забыв, что давала себе слово не спрашивать об этом вслух. – Чем я плоха? Скажи мне на будущее… Чтобы знать…

Он затих у нее за спиной, и Таня кожей почувствовала, что муж смотрит на нее с жалостью. «Всё началось с этого, этим же и заканчивается. Он пожалел меня… Он и сейчас только жалеет меня. В нем так много этой дурацкой жалости, что она может стать для него якорем. Но разве я против, чтобы он остался со мной хотя бы по этой причине? В женских журналах пишут, что жалость унизительна, что нельзя ее допускать… Но я… Я не против. Только что за ерунда? В меня влюбляются двадцатилетние мальчишки, а мой муж живет со мной только из жалости!»

Оставив на кровати сумку, Никита подошел к жене сзади и обнял. Руки у него всегда были теплыми и казались такими надежными… Таня спокойно подумала, что сейчас ее сердце разорвется. Оно казалось ей таким разбухшим, что ошметки забрызгали бы всю комнату.

– Мне никогда так не хотелось умереть, – сказала она березе с позолоченной верхушкой. Так красились ее молодые танцоры. Таня знала: каждый из них надеется, что движения, доставляющие столько удовольствия обоим в паре, продолжатся и когда музыка стихнет. Они не догадывались, что в эту минуту в Тане тоже все затихает.

– Ну не надо, – попросил он. – Я же сказал тебе, что не к другой ухожу. Мне просто хочется на какое-то время спрятаться в нору.

– Как больному зверю?

– Вот именно. Это закон природы. Я ничего не нарушаю.

Она с трудом оторвалась от его руки:

– Совсем необязательно все должно быть правильно.

– И это ты мне говоришь?

– То, что ты воображаешь себя зверем – уже неправильно!

– Больным зверем… Это немножко другое.

От решимости у нее закололо в ладонях:

– Скажи мне, почему ты хотел… Ну… Почему ты выпил те таблетки?

Никита не тронулся с места, а Тане показалось, что он внутренне отстранился.

– Ты же знаешь, – помедлив, ответил он.

– Нет. Что я знаю?

– Я хотел уснуть. Покрепче. Когда действительность становится настолько мерзкой, одна надежда на сон.

«Умереть ты хотел, – ее тянуло крикнуть это, но она промолчала. – При чем здесь сон?»

– Это я понимаю, – терпеливо согласилась она. – Иногда и меня тошнить начинает… Но тебя – от чего?

– И это ты знаешь.

– Разве? Из-за книги не умирают. Если только это не была для тебя особая книга.

Он сделал попытку рассмеяться:

– Конечно, особая! Она же первая.

– У тебя десяток знакомых литераторов! – Голос дрогнул от того, как ей хотелось закричать. – И почти ни у кого из них еще не изданы книги. И ничего! Никто не глотает снотворное.

Перестав вымучивать улыбку, Никита сказал:

– Но половина из них почти спилась, а вторая села на иглу. Может, я еще легко отделался…

Наскоро представив оба других варианта, Таня содрогнулась.

– С тобой ведь это не повторится? – жалобно спросила она, ловя его взгляд.

– Вот как раз для этого я и должен пожить у отца.

Его голос звучал все напряженнее, а Таня еще не успела спросить: почему Никита никогда не давал ей почитать эту книгу? Она знала ответ, но ей хотелось услышать, что скажет муж.

«Вот это и есть тот главный вопрос, который я уже должна была задать… Или не должна? – Таня лихорадочно пыталась решить это, пока Никита стоял рядом. – Я ведь знаю, что в этом все дело. И уже от этого зависит, когда он вернется и где будет жить…»

Но вместо этого она спросила:

– А что я должна сказать Муське?

Он разжал руки и сел на подоконник, чтобы видеть ее лицо.

– Ну, скажи: папу перевели в другую больницу, – предложил Никита таким шаловливым тоном, будто они обсуждали, какой сюрприз сделать дочке к

Новому году.

Сжавшись от этих не во время явившихся воспоминаний, Таня кивнула.

– Слушай, это ведь правда, – уже серьезно подтвердил Никита и, взяв ее руку, так внимательно осмотрел узкую, смуглую ладонь, словно за это время на ней могли появиться новые, сулящие другую судьбу линии.

Таня выдавила какой-то звук, который символизировал согласие, успев сообразить: внятно выговорить не удастся ни слова. Она не была уверена, что это слезы собрались в горле жестким комком, ведь Таня почти никогда не плакала. Может, это ее горе стянулось в одно место и не давало не то что говорить, но даже глотать.

– Я же не потому собираюсь отсидеться дома… то есть у отца… что мне с вами плохо, – опять заговорил Никита, и Таня услышала, что у него в горле застрял такой же комок. – Я, понимаешь… Я еще не чувствую себя здоровым.

– Да? – только и проронила она.

– Да. Разве я раньше раздражался так часто? Да никогда этого не было. А сейчас множество вещей меня просто бесит!

«Я?» – ужаснулась она, но опять не решилась спросить. Вернее, услышать ответ…

– Я вас же и хочу уберечь от себя такого. Неужели ты не понимаешь? Тебе надо, чтобы я тут орал и психовал по любому поводу?

Он улыбнулся, как довольный своим красноречием мальчишка, которому удалось получить разрешение удрать из дома. Но Таня сказала:

– Да пусть… Подумаешь! Лишь бы ты был со мной.

Перестав улыбаться, Никита виновато шмыгнул носом и отвел глаза. Только сейчас Таня внезапно догадалась, почему вместо обычных он купил себе очки с затемненными линзами: чтобы никто не видел этих его глаз. В них слишком

хорошо прочитывалось даже то, что Никита собирался скрыть от мира. И то, чего в нем не было, тоже читалось по этим глазам. Любви к себе Таня в них не находила…

– Иди-иди! – торопливо сказала она, пока он не захлебнулся своей жалостью. – Я… знаешь… Я не собираюсь мешать тебе жить.

– Да при чем здесь – жить? – без выражения повторил он. – О жизни речь вообще не идет… Я пытаюсь не умереть, вот и всё.

«Вот и всё», – повторила Таня про себя. Эти слова были многозначительны и печальны, может, поэтому их так часто использовали в песнях. Чтобы сделать менее заметной общую легковесность. Хотя, когда уже сказано «вот и всё», о чем еще петь?

– Я просто хотела бы знать правду, вот и всё, – сказала она. – Ты говоришь, что пытаешься не умереть, а я даже не догадываюсь от чего. Это, по-твоему, нормально? Мы ведь вместе чуть ли не двадцать лет! Неужели ты не можешь доверять мне, Адмирал?! Разве я хоть раз тебя обманула?

Внутри у нее холодно оборвалось: обманула… Об этом Таня старалась не вспоминать, а он не знал совсем. Значит, обмана как бы и не было. Это свой Никита не смог сохранить в тайне. Как все те откровенно страдающие герои, о которых Никита читал. Их нежизненность была в том, что они не умели лгать, как все люди. А если и пытались, то их начинал так донимать стыд, что признание становилось единственным выходом.

Она видела, до чего Никите хочется признаться. И даже знала – в чем. Но он все медлил, и Таня уже начала бояться, что в больнице к его лечению отнеслись чересчур добросовестно и впрямь сделали из него нормального человека. Каким Адмирал никогда не был…

– Хорошо, я скажу тебе, – вдруг проговорил он с безнадежностью.

Тане сразу подумалось: «Нет, он все тот же», – но это ничуть не обрадовало. Хотя ей по-прежнему хотелось услышать ту правду, что рвалась из него наружу. С детства Таня усвоила, что врага надо знать в лицо. А теперь вдруг испугалась, что если она увидит это самое лицо, то оно заслонит от нее все остальные.

До недавнего времени Таня и не знала глубины заложенной в ней ненависти, ведь до сих пор никто ее не вызывал. Как бы ненароком она заскакивала к Никите на кафедру, конечно, без предупреждения, и вскользь, но очень даже пристально оглядывала молодых ассистенток и преподавательниц. Но стоило Тане появиться, как муж начинал светиться от радости и хватал за рукав всех и каждого: «Познакомься! Это моя жена». Она чувствовала, что его просто распирает от гордости, и даже сейчас верила, что так оно и было. Каких-то три-четыре года назад… Что же с ними случилось?

– Хотя это все, наверное, покажется тебе несусветной глупостью, – морщась, продолжил Никита, поглядывая на нее с такой надеждой на поддержку, будто Таня могла еще и одобрить то, что с ним происходит.

– Может, и не покажется. С чего ты взял? Оказалось, что мы вообще плохо знаем друг друга…

Он уныло добавил:

– И себя тоже. Я, например, не представлял, что могу потерять разум из-за… практически выдуманной женщины.

– А! – равнодушно откликнулась Таня. – Все-таки есть женщина.

«Сейчас все же разорвется, – подумала она о том комке, что все разрастался внутри. – Господи, ну почему ты не забрал меня отсюда минуту назад?! Как я теперь должна жить?»

Никита торопливо добавлял то, что, по его мнению, должно было обрадовать жену, хотя ей почему-то не стало легче:

– Я не прикасался к ней, слышишь? В этом я тебе не изменял.

– В этом?

Она попыталась понять: что же хуже? Но мысли расплывались черными пятнами, и одно было темнее другого.

Никита так твердо повторил «в этом», что ни у кого не осталось бы сомнений: в остальном он больше не был ей верен.

– Что в этой книге? – спросила Таня, опять стараясь смотреть только в окно, чтоб муж не мучился под ее взглядом.

Никита отвел руку в сторону, при этом прижав локоть – только он один так выражал недоумение.

– Стихи.

– Она их читала?

– Нет, конечно! – удивился он, будто такого и быть не могло.

– А кто читал? А, ну понятно… «Богема». Ненавижу это слово!

– Почему? В нем ведь есть главный слог.

Таня слегка растерялась:

– Что значит – главный? Какой?

– Бог, – без улыбки ответил Никита.

– Это не слог. Бо-ге-ма. Вот как делится.

Он упрямо дернул бровями:

– Все равно. Слышится: Бог.

– Тебе, может, и слышится…

Тане хотелось показаться язвительной, но собственные слова открыли неожиданное: ее муж умеет в обычном различать космическое. Это совсем подавило ее. Не тем, что обнаружилось, как и в самом деле мало знают они друг

о друге. Но главная боль в тот момент заключалась в том, что Никита уже успел мысленно соединить в той женщине, которой Таня даже не знала, Красоту и Любовь целой Вселенной. Сама по себе та, другая («Почему он не говорит ее имя?!»), никакой роли в их отношениях не играла. Дело было только в нем.

– Что ж ты ей их не прочитал? – вернулась Таня к реальности.

– Мы с ней незнакомы, – сказал Никита, как о чем-то само собой разумеющемся.

– Как это?!

– Да вот так.

– Ну, ты действительно сумасшедший, – убежденно протянула Таня, поглядывая на мужа с незнакомым себе страхом. – И ты из-за нее собираешься уйти от меня? От Муськи? Ты ведь даже не можешь быть уверен, что она – лучше. Это же выдумка сплошная, и ничего больше!

Он вдруг разозлился. Когда у него вот так белели губы и стекленели глаза, Таня находила повод выйти из комнаты, хотя еще ни разу на ее памяти Никита не дал выхода своей ярости.

«Может, и зря, – храбро решила она. – Психиатры не зря же советуют разряжаться… Надо заказать свой резиновый манекен, чтоб он хоть так лупил меня, если по-другому не может… Видно же, как ему хочется».

– Что значит – лучше? – резко спросил он. – Как вообще можно определить, какой человек лучше, а какой хуже? Кто вправе это решать? И при чем здесь выдумка? Почему эта сексуальная тяга кажется всем убедительной причиной для ухода, а если речь идет просто о душе…

– Ты картавишь…

– Что-что? – задохнулся Никита.

– Когда ты волнуешься, то начинаешь картавить, – пояснила Таня, сама не зная, к чему это сказала.

Болезненно усмехнувшись, он, словно освобождаясь от ее ненужных слов, мотнул головой, к новому цвету которой Таня еще не успела привыкнуть.

– Я знаю, что иногда картавлю. Тебе что, легче станет, если ты обнаружишь у меня пару изъянов? Что за детство?

– Чего ты заводишься? Я же сказала: уходи. Я вижу, к тебе и в самом деле не вернулся рассудок.

Он промямлил совсем другим тоном:

– Я и сам понимаю, что выгляжу полным идиотом. Из-за такого из семьи не уходят…

Таня выпрямила спину и напряглась от того, как резко натянулась в ней какая-то живая жила, на которой, как воздушный шар на нитке, держалась надежда.

– Ее ведь даже нет. Ты ведь сам говорил мне, что Химера – это чудовище… Неужели ты не боишься? – спросила она, на этот раз глядя ему прямо в глаза. Они не пытались избежать ее взгляда, только становились все более круглыми и несчастными.

«У Муськи были такими же, когда у нее отобрали роль Бекки», – вспомнила Таня, и теперь уже ей захотелось расплакаться от жалости к этому взрослому мужчине, который и был старше, и выглядел старше, но сейчас она жалела его почти по-матерински.

– Глупый ты мой, – звук ее голоса иссяк до шепота. – Зачем ты все это навыдумывал? Тебе чего-то не хватало?

Она погладила его поседевший висок, и ей почудилось, что за время разговора тот стал еще белее.

– Я не знаю, – беспомощно признался Никита. – Я пытался вспомнить, как это произошло… Не знаю… Мне кажется, я был вполне счастлив. Как туземец какой-нибудь, который никогда не плавал дальше, чем за десять миль от своего острова, и прекрасно себя чувствовал. А однажды ему приснился Париж…

– Париж?! – вскрикнула Таня, отдернув руку и отшатнувшись от мужа. – А я – чем тебе не Париж? Да я рада хоть трижды в день сексом заниматься! Если б ты хотел…

Быстро облизнув мгновенно пересохшие губы, Никита растерянно пробормотал:

– А при чем тут секс? Разве Париж – это секс?

– А что же еще?

– Париж – это мечта…

– Да что ты о нем знаешь? – спросила Таня, почувствовав, как в ней опять поднимается жалость. – Это я была там на гастролях, а не ты… Так что молчал бы. Ты его и не видел…

И тут же поняла, что это как раз в его духе – любить нечто эфемерное, мираж, и не замечать настоящих, не придуманных сокровищ в двух шагах от себя. Никита и ее-то не замечал, пока она не свалилась ему под ноги. А ведь этого просто-напросто могло и не произойти…

– Не видел, – бесстрастно подтвердил Никита и добавил то, что она только что говорила себе: – Но мне это и не нужно.

– Зачем же ты уходишь, если тебе необязательно даже видеть? Ее…

Он не ответил, хотя губы у него раскрылись и замерли в напряженном изгибе. Но Таня ждала, и ему пришлось сказать:

– О Париже я могу читать. А о ней, кроме меня, никто еще не написал. Хотя, может, я не все знаю… Вернее, я ничего о ней не знаю! Правда только то, что я ее увидел. И что-то со мной случилось.

– И когда же это произошло?

Про себя она отметила: «Больше не картавит. Он заговорил о ней и успокоился. Вот так…»

– В день… – Никита запнулся и посмотрел на жену еще более виноватым взглядом.

«Ну, совсем уж как собака!» – попыталась она рассмешить себя, но из этого ничего не вышло. Тогда Таня просто повторила:

– В день…

– В день моего рождения. Три года назад.

Ее чистый загорелый лоб, над которым волосы были поровну поделены пробором, напрягся. Морщины на нем проступали не как у всех людей, а вдоль. Никита непроизвольно сделал движение головой, как бы пытаясь стереть их.

– Помнишь, как мы ходили на обрыв, – постарался помочь он жене. – Ты там так хорошо танцевала…

– А ты! – Она задохнулась, вообразив эту сцену.

Тане вспомнилось, как она ликовала тогда, ощущая, что все любуются ею. О Никите она в отдельности и не думала, он стал одним из зрителей, которых она любила за то, что они любили ее. А теперь Тане пришло в голову: сама и виновата – ослабила ту энергетическую нить, которая была между ними, и надо же! Именно в этот момент…

– Так она тоже была там? Выходит, я ее знаю? – ей почему-то не хотелось верить в это.

– Нет. Она проходила мимо.

– Ты… Ты влюбился в женщину, которая просто проходила мимо?!

– Таня, – протянул он с досадой и сильно потер тот самый висок, который она только что гладила, – зачем тебе нужны эти подробности? Я ведь ухожу сейчас

не потому, что нашел Лину…

– Лину?

– Я себя потерял! Я ничего тебе не говорил… Да, по-моему, мы вообще впервые за несколько лет разговариваем, и тебе не надо никуда бежать! Тебе некогда было заметить, что последние три года я только и жил этой книгой. А у меня ее самым примитивным образом украли. Вот это и выбило у меня почву из-под ног, неужели ты не понимаешь?

Перехватив его нервную руку, Таня сжала ее и твердо сказала:

– Посмотри… Нет, ты оглядись! Здесь твоя почва. Твой дом.

Он попытался отшутиться:

– Ну что ты! Это квартира, а не дом.

– Мы сами с тобой его создали. Смотри! – Она подтащила его к старому серванту, где вместо посуды жили пластилиновые и бумажные человечки. – Здесь Муськины поделки… Ты сам придумал их сюда поставить. Твое перо с профилем Пушкина. Откуда его привезли?

– Из Пушкина, – усмехнулся Никита.

– А этот наш коврик с лилиями! Я больше таких не видела. Может, он вообще – единственный.

«Так не бывает», – подумал Никита, но возражать не стал.

– Твои книги, твои альбомы по искусству, диски, кассеты… Ты все это заберешь с собой?

Не раздумывая, Никита ответил:

– Нет, конечно. Это все здесь и останется. Я возьму только часть одежды.

– Ты же привязан к вещам! Как ты будешь жить без этого? Это же твой мир. Кресло это, торшер…

– Не очень-то они помогли мне.

– А без них ты совсем пропадешь, – убежденно сказала Таня, – даже без гераней этих.

У него вдруг повеселели глаза:

– Ты заметила? Красная расцвела. К чему бы это? А всю зиму цвела белая. Символ одиночества.

Этого Таня уже не вынесла.

– Но ты не был одинок! – закричала она.

Никита промолчал, и тогда она сразу съежилась.

– Если ты уже все решил… Конечно. Иди.

Теперь он обеими руками сжал ее голову.

– Это не развод. Я просто хочу попытаться излечиться одиночеством.

– Я уже поняла, – безучастно подтвердила Таня. – Я… Я тоже попытаюсь.

«А что будет со мной, если она от меня излечится?» – спросил Никита себя, оказавшись на улице. Сумка, висевшая на плече, тяжело толкала его в бок, и, повинуясь ей, он шел прочь от дома, в котором провел половину жизни. Он даже не сомневался, что совершает ошибку, глупость, равной которой еще не было на его счету.

Но больше всего угнетало то, как покорно восприняла его уход Таня. А ведь она была вспыльчива, легко могла зайтись в крике и даже бросить в него что-нибудь

– подушку, ложку, полотенце. Что-нибудь небьющееся, потому что Таня была бережлива и даже в гневе помнила цену каждой вещи.

«Неужели она и впрямь верила, что меня удержат все эти вещи?» – Он поморщился от жалости, вспомнив, как лихорадочно хваталась Таня за любой предмет, с которым Никита был хоть как-то связан. По-настоящему он прикипел ко всему в этом доме, ведь у каждого была своя, хоть и пустенькая, но отложившаяся в его памяти история. Таня опять забыла о том, что если внутри него уже есть нематериальные слепки с этих предметов, то сами они не так уж и важны для Никиты. Три года он сумел прожить, почти не видя Лины и только думая о ней, и вместе с тем, ни один другой отрезок его жизни не был настолько наполнен любовью…

Он невозмутимо сказал себе: «Даже Таня считает меня сумасшедшим. Ну что ж… Тогда я и действовать буду, как сумасшедший. Наверное, пришла пора».

Его охватила почти пушкинская радость от предвкушения свободы человека, лишенного разума, а следовательно, избавившего себя от множества условностей. И от страха. Главное – от страха.

«Да какого лешего! – хлопнув по сумке, весело сказал себе Никита. – Терять мне уже нечего… Пойду сейчас и познакомлюсь с ней. Вломлюсь в кабинет и скажу: „Научите меня играть на фортепиано. Мне тридцать шесть лет. Я пришел к этому желанию осознанно. Я – кандидат искусствоведения, как я могу обходиться без музыкальной грамоты? Это просто преступно!“ Ну да, так я и скажу…»

Он поправил очки и скептически оглядел свою спортивную кофту с капюшоном. Стоило бы переодеться, но Никита слишком хорошо знал себя, чтобы рисковать: если упустить эту волну веселого куража, то уже никогда не доберется до порога школы искусств. Даже если ему снова доведется привести туда на занятия дочь, это будет уже совсем другое. Особенно в этом случае.

Где-то внутри него пронеслось увиденное во сне: он – в черной рубахе, умело удерживая равновесие, стоит у деревянного борта, а брызги смачивают его разгоряченное лицо, и от этого легче дышать. Он так взволнован потому, что плывет к ней… У него еще нет сундука с сокровищами и, скорее всего, никогда не будет, но уже есть корабль, который сумел освободиться от земного

притяжения и взлететь.

«Она должна полететь со мной», – взволнованно думал Никита, не замечая того, как то и дело оборачивается к своему дому. Так моряк, который надолго уходит в рейс, смотрит на родной берег, даже если ему хочется уплыть подальше.

– Если она откажется, – прошептал он, украдкой глянув по сторонам, – я и сам рухну на землю… Что тогда от меня останется?

На месте знакомого до последней выбоины тротуара Никита вдруг увидел отшлифованную до блеска мостовую, нагретую и обласканную солнцем. Они живут в южном городке, маленьком настолько, что ему необязательно иметь имя. Просто город, где возможно счастье. Там столько счастья, что всё вокруг поет, чтобы выплеснуть избыток, не захлебнуться им: ночные цикады, рассветные птицы, безголосые чайки, розы, песней которых стал их аромат, магнолии, едва слышно роняющие розовые пушинки…

Они живут с Линой в домике на горе. Они забрались так высоко, чтобы видеть весь город и дымчатый полукруг моря и – в противоположном окне – старые, синие горы. К тому же им обоим полезно пройтись вверх по склону пешком – для тренировки, ведь они непохожи на Таню… Они немного ленивы, как все в этом городе, который этим и отличается от остального мира, где в воздухе носится столько разных энергий, что они часто сталкиваются, причиняя людям боль и внутренние разрушения. А жителям этого мира кажется, будто они что-то создают, хотя главное умение ими уже утрачено – они разучились делать друг друга счастливыми.

Никита непонимающе посмотрел на сигналившую ему машину и прошел остаток дороги, вновь разглядывая тот разноцветный город, к которому их доставил воздушный корабль. На пляже там должен быть песок… Непременно, песок! Теплый и приятно вязкий, ласкающий ноги. Муська зароется в него, как все дети, целиком, только мордашка наружу…

Его нисколько не удивило присутствие Муськи. Как же без Муськи? Не от нее ведь он бежал в тот город… Он принесет им обеим персики – нежно-румяные, сочные настолько, что сок потечет к локтям, и его аромат привлечет сердитых ос. Муська начнет визжать и отбиваться от них, хотя Никита уже учил ее, что нельзя махать руками. Но она все забудет от ужаса и с воплями помчится в воду,

а Таня за ней, хохоча и оборачиваясь на ходу, так ловко, как только она и умеет.

Стоп! Никита остановился так внезапно, что сумка больно ударила его по бедру. При чем здесь Таня? Лина. Конечно, Лина. Там не должно быть Тани… И никаких танцев, похожих на эротическую игру с целым залом. На это он уже насмотрелся. Наслушался этих ритмов. Теперь ему хочется другой музыки.

Если этого города нет на штормящей земле,

Обернусь пауком, чтоб сплести из серебряных нитей,

Остров полувоздушный, надеждой на лето покрытый.

Встречный ветер дождусь, и его принесу я тебе.

Ты без страха ступай: ничего нет прочнее мечты.

Видишь, сколько любви ручейками ее напитало!

Видишь, сколько тоски запеклось в обездвиженных скалах.

Видишь, болью какой изогнулись сырые мосты…

Я не буду гадать: ты решишься лететь или нет.

Просто сделаю то, без чего жить уже невозможно…

Невесомой земли ты коснешься рукой осторожно,

И уже не стереть твой случайный, светящийся след.

Едва не споткнувшись о мраморное крыльцо, Никита обнаружил, что добежал до школы так быстро, как не получалось, даже когда они с Муськой опаздывали на занятия. Он с ужасом огляделся: «Неужели я здесь?!» Наготове было оправдание: зашел узнать насчет начала занятий. Для Муськи, конечно. Усмехнувшись, Никита сказал себе, что это довольно-таки малодушно – прятаться за девочку такому отважному пирату в черной рубахе. И вообще, приуныл он, все, что им сделано за последнее время – сплошное малодушие. И то, что многое другое не сделано, – тоже.

«Так делай! – приказал он себе и покрепче стиснул ремень сумки. – Какого лешего? Что я теряю? Если она рассмеется мне в лицо, я уйду этим же путем и

может, стану наконец нормальным человеком…»

Он поднялся по ступеням так медленно, что успел изучить пыльные разводы на каждой. Одни из них были закручены спиралями, другие напоминали интегралы, о которых Никита лишь то и помнил, как они рисуются. А на верхней ступеньке разглядел тонким росчерком нанесенную голову лося, похожую на те, что были нарисованы на скалах, которые потому и назывались Писаными. Тот человек, восхищавшийся похожим на полет бегом животного, умер еще в каменном веке, а его любовь осталась, вошла в этот мир и принесла с собой немного красоты.

«Мои стихи тоже вошли в него, – Никита вдруг увидел это с неожиданной стороны, – хоть и под чужим именем. Но ведь имени того парня, что рисовал на скалах, мы вообще не знаем. Зато знаем, как можно любить красоту… Благодаря ему. Может, кто-то прочтет мои стихи и чуть лучше узнает, как можно любить человека. Разве это знание становится другим от того, что на обложке значится имя не Иванова, а Петрова?»

От этого противоречивого заключения ему стало легче. Никита подумал: хоть уж ему не суждено прийти к Лине с книгой, сами стихи все равно остаются при нем. Он может прочесть их наизусть, и если она окажется такой, то ей не будет дела до того – изданы они или нет.

Немного повеселев, Никита решительно потянул тяжелую, наполовину стеклянную дверь, удивляясь только тому, что эти логичные рассуждения не пришли ему в голову пару месяцев назад, когда они могли вытянуть его из депрессии, из-за которой мир почернел до такой степени, что жить в нем стало невозможно. Обнаружив в мусорном ведре пустые коробки из-под снотворного, Таня успела вызвать «Скорую», а врачи, в свою очередь, взялись за пациента так умело, что в два счета извлекли его с того света, который именно светом Никите и представлялся. Правда, само это убеждение пришлось изгонять из него еще несколько недель, но уже в другой больнице…

– Здравствуйте!

Его голос в пустом холле прозвучал неожиданно громко, и Никита смутился. Он не собирался сообщать о своем визите всей школе. Случившаяся с ним болезнь была все же не настолько тяжелой, чтобы вытеснить из памяти то, что Лина замужем, а значит, ей ни к чему лишние разговоры.

Он замолчал, не зная, стоит ли продолжать. Но дежурная улыбнулась, как улыбались почти все женщины, с которыми Никита заговаривал. Он принимал это за обычную вежливость до тех пор, пока Таня в сердцах не бросила: «И почему это на тебя все западают?»

Ему даже пришлось переспросить: «Что-что? Западают?»

Она отозвалась с раздражением: «Ты же понял, о чем я говорю!»

Тогда он просто пожал плечами: «С чего ты взяла?»

И запомнил, что она ответила: «Все бабы так и расцветают тебе навстречу!»

Слово «бабы» она использовала не для того, чтобы задеть его. Таня вообще часто так говорила. Если Никита морщился, она удивлялась: «Ну и что такого? Вокруг меня молодые ребята. Конечно, я разговариваю на их языке! А то они и не поймут… С тобой мне и так вечно приходится следить за собой. У тебя неестественно правильная речь, никто так и не говорит! Думаешь, на меня это не давит?»

Пришел его черед удивляться: «А что – давит? Ничего я не слышу неестественного в своей речи… И я ведь тоже среди студентов нахожусь. Чему ты научишь этих ребят, если будешь с ними вровень? Я же не призываю тебя выдерживать менторский тон, это еще хуже… Но уважать тебя они должны. Да ты пойми! Это же им самим необходимо!»

Это всегда смешило Таню: «Уважать?! Да они все поголовно в меня влюблены!»

После таких слов Никита обычно умолкал. Тот эмпирический опыт, что он вобрал из литературы, утверждал, что можно влюбиться в человека и не уважая его, но Никита не мог обсуждать это, не испытывая неловкости, потому что сам такого не пережил. Ему всегда было необходимо высоко ценить женщину, чтобы впустить ее в свою душу. В Тане он оценил глубину ее любви к нему…

До этого Никита по-настоящему влюбился только раз – в учительницу истории. Она сразила его своей смелостью. Тогда еще только начинались восьмидесятые, и разоблачительной волне предстояло идти на них еще лет пять. А на уроках

истории им уже давали понять, что не нужно все слепо принимать на веру. Что школьные учебники написаны обычными людьми, и, возможно, даже не самыми умными. И уж конечно, не самыми честными…

Нельзя сказать, что эти осторожные замечания подействовали на Никиту как гром среди ясного неба. Его отец был человеком ироничным и довольно скептически относившимся ко многим достижениям советской власти. Поэтому к девятому классу семя сомнения, доставшееся Никите вместе с жизнью, уже дало неплохие всходы. Но мальчика не могла не поразить дистанция между «кухонной» храбростью и отвагой публичных высказываний.

И он влюбился в Ирину Аркадьевну до того, что готов был ходить на уроки истории и с другими классами – да хоть с пятыми! – жертвуя ради этого даже литературой, которая, впрочем, велась точно в соответствии с программой и потому особого интереса, как учебный предмет, у начитанного мальчика не вызывала.

Перемены превратились в непрерывный поиск: ее нет в кабинете, может, она в учительской? Или пошла в столовую? Где она?! Увидеть – это была та великая цель, что придавала смысл каждому дню. Увидеть…

– Я могу увидеть Элину Васильевну?

Он стоял перед дежурной со своей огромной сумкой и ловил себя на том, что улыбается как-то заискивающе, как коммивояжер, который надеется всучить Элине Васильевне что-нибудь из спрятанного в этом коробе барахла.

– Нет, – радостно сказала дежурная, показав пикантно блестевший позолотой зуб. – Она только ушла. На улице не встретили?

– Ушла?

Никита физически почувствовал, как меркнет в нем радость, и решимость, отхлынув, уступает место знакомой черной волне. Ее брызги, колючие и едкие, уже впились ему в глаза, и он едва удержался, чтобы не зажмуриться.

– Да вот только вышла! Может, еще догоните?

– Вряд ли, – ответил он, отступая. – Спасибо.

– Как Мусенька ваша?

«Вот черт, она меня помнит!» – растерялся Никита и пробормотал:

– Хорошо Мусенька. Отдыхает. А вы? Уже из отпуска?

Дежурная охотно поделилась невезением:

– Да у меня в этом году разорванный. Прям так неудобно, ужас!

– Еще бы, – поддакнул Никита, изо всех сил сдерживая желание броситься к двери. – Мне хорошо, у меня – преподавательский, длинный.

– Да, вам хорошо…

«Ну вот, – подумал он, снова выбравшись на крыльцо. – Что и требовалось доказать… Разве у меня могло выйти что-нибудь в таком роде? Я – не Дали, ко мне чужая жена не сбежит…»

Не чувствуя в себе сил добраться до отцовского дома пешком, Никита прошел десяток метров до остановки и заскочил в уже отходивший трамвай. Днем он оказался полупустым, и Никита через весь вагон потащился со своей сумкой к кондуктору, которая и не подумала подойти к нему.

Он не запнулся. Он просто почувствовал, что больше не сможет сделать ни шага. Лина подняла голову и посмотрела на застывшего перед ней мужчину – сперва рассеянно, потом взгляд ее сосредоточился, как у человека, который пытается что-то вспомнить, хотя не может понять – что именно.

– Здравствуйте, – он откашлялся и повторил: – Здравствуйте.

– Мы знакомы? – не очень уверенно произнесла она.

– Да. То есть нет, конечно…

Никита без приглашения опустился на сиденье перед ней и повернулся, облокотившись о спинку. Может, он и подождал бы, пока Лина предложит ему сесть, но ведь ей было неудобно задирать голову…

– Вы не можете помнить, – начал Никита, с ужасом понимая, что даже не удосужился продумать этот первый разговор, от которого все и зависело. – Мы встречались с вами в лесу. Неподалеку от обрыва.

– В лесу?

– Вы несли такие огромные листья, похожие на перья… Я еще сказал, что вы – как птица.

– А! – Она беззвучно рассмеялась и прикусила нижнюю губу. Никита еще не знал этой ее привычки. – Помню!

– И меня помните?

– Да, конечно! А вы, наверное, решили, что я – ненормальная… Да? Так и было?

– Поэтому вы и ушли так быстро? А я подумал: райское создание спустилось на землю. А я спугнул.

Перестав улыбаться, Лина посмотрела на него испытующе. Ему показалось, что и сейчас она встанет и уйдет. Но она только сказала:

– Это неправда.

– Почему? – удивился Никита, точно зная, что не лжет.

– Разве у… людей бывают такие возвышенные мысли?

Почему-то ему показалось, что Лине хотелось сказать: у мужчин. Он счел правильным согласиться:

– Наверное, не у всех. У большинства не бывает.

Ей так захотелось улыбнуться, что у нее заблестели глаза:

– А вы, значит, не боитесь остаться в меньшинстве?

– О, вот чего я никогда не боялся! – с легкостью признался Никита, но тут же спохватился: «Она может принять меня за хвастуна». Он осторожно добавил: – Такое воспитание, понимаете? Мои родители всегда мне внушали, что нет ничего страшного в том, что девять из десяти собеседников тебя не понимают. Я радуюсь, если хоть один понял…

– Вы будто оправдываетесь, – она улыбнулась. – Это же замечательно, когда человек не боится остаться в меньшинстве.

– А вы не боитесь?

Это Никита спросил только потому, что ему не терпелось узнать о ней всё. Как можно больше, раз уж выпал случай поговорить. Кто знает, может, в следующий раз она заметит его еще года через три… Никиту не оставляло ощущение, что реальность, в которой он только что жил, как бы слегка разошлась и впустила в себя другую реальность, вмещавшую и летающий корабль, и берег, полный солнечного песка, и Лину, разговаривающую с Никитой.

– Боюсь, – шепнула она и снова улыбнулась, быстро оглянувшись. – Поэтому стараюсь держать язык за зубами. Вот мой муж, он, как вы, – ничего не боится.

Это сравнение привело Никиту в уныние. Меньше всего ему хотелось бы походить как раз на ее мужа. Чем может заинтересовать человек, если ты замужем за таким же?

– Хотя, кажется, в остальном вы совсем на него непохожи, – добавила Лина, мгновенно вернув ему радость.

Он засмеялся, даже мысли не допуская, что это может оказаться и не в его пользу. В этот момент Никита не помнил того, как час назад возмущенно доказывал, что один человек не может быть лучше другого. Они просто разные.

От тех слов его отделяла уже целая вечность.

* * *

Какой-то голос, звучащий внутри меня, пытается подстегнуть. Но это не я говорю себе. С мальчишеской бесцеремонностью он повторяет: «Вам ведь не пятнадцать лет… Не пятнадцать…»

А сколько? Откуда мне знать это, если я не знаю о себе вообще ничего. Может быть, у меня нет ни возраста, ни имени, ни пола…

Я – дух этого корабля, что уносит меня прочь от мутного света. Он постанывает, ведь это нелегко – отрываться от мира. Я знаю, потому что чувствую то же самое.

Кто-то продолжает бубнить прямо в моей голове: «У меня нет стихов… Нет стихов…»

Я чувствую, что надо помочь этому голосу, за которым должен скрываться человек. Но мне не хочется видеть людей. Никаких. Они – по ту сторону иллюминатора. Мы никак не пересекаемся.

К тому же у меня нет и стихов, которыми можно было бы пожертвовать. Впрочем, это не жертва, когда от тебя все равно ничего не осталось. Только одно – почти не слышное, почти не подающее признаков жизни. Но еще не погибшее окончательно. Моя любовь.

* * *

«Дорогая моя, как хочется сказать вам „здравствуйте“ и просто поговорить, вместо того, чтобы писать. Но иначе не получится. Да и письма эти для меня – сплошное удовольствие, хоть я и нечасто за них берусь. Когда я пишу вам, мысли мои приходят в порядок, и то, что я ощущала лишь смутно, становится ясным и определенным.

Хотя получится ли так сейчас – не знаю. Всё во мне пришло в смятение, хотя ничего вроде и не случилось. Просто поговорила в трамвае с одним человеком… Ничего значительного сказано не было, и следовало бы с легкостью забыть этот разговор, а я не могу.

Знаете, бывают такие люди, которые, даже произнося банальности, производят впечатление. Я не хочу сказать, что услышала от него самую легковесную ерунду, однако это был обычный разговор, не более того. Но что-то есть в этом человеке, чего я, конечно, сразу не разгадала, и оно не отпускает меня.

Я не влюбилась, нет! Вы же знаете, как я привязана к Сереже… Вот именно – привязана. Хотя в этом слове слышится оттенок насилия, оно очень точно отражает наши отношения. Это даже больше любви, ведь она может кончиться, а то, что связывает нас, по-моему, нет. Иногда мне кажется, что Сергей (да и я сама!) мучается прочностью этой связи и в который раз пытается разбавить ее крепость водкой. Это выматывает нас обоих, но, как ни странно, не отдаляет друг от друга.

Вот смешно, я пишу о Сереже, а вижу лицо того человека… Он назвал только свое имя – Никита. И произнес это с какой-то детской и показавшейся мне удивительно милой застенчивостью. В его лице есть нечто очень трогательное. Не только глаза – тоже карие, как у меня, только больше и как-то круглее. И не в улыбке дело… А вот все вместе…

Он совсем не юный и не хрупкий, и довольно симпатичный человек, а мне с первой минуты стало жаль его. Почему? Не знаю. Но меня не оставляет ощущение, что в нем живет боль. И он вынужден скрывать ее ото всех. В чем она? Мне хотелось бы узнать это, хотя я понимаю, что лучше не заводить отношений доверительных настолько, что при всей своей внешней безобидности они могут ранить одного из двоих. А может, и обоих.

Зачем мне это? Я и так живу в постоянном напряжении, не зная, чего ждать от Сергея сегодня. На днях его опять „попросили“ из той газеты, где он продержался последние полгода. Его пьянство здесь ни при чем, из пишущих многие пьют. Я знаю, что это у него – всегда следствие, как у большинства тех, которые были рождены сильными, а обстоятельства постепенно уничтожили эту силу и подчинили людей себе. Если б в журналистике у Сережи все сложилось так, как мечталось в юности, он чувствовал бы себя счастливым человеком. Он сам не раз говорил мне это: „Многим куда хуже! У них еще и жены – стервы“.

На этот раз все опять рухнуло из-за его непримиримости. Она калечит Сергею жизнь, но если б он хоть раз пошел на компромисс, я была бы разочарована. Понимаю, что нормальная, трезвомыслящая женщина не должна так говорить. Наверное, я просто идеалистка, и годы меня не лечат…

Сережа написал статью (разумеется, далеко не хвалебную!) о работе одного химического комбината, который опекают местные власти. Кому могла понравиться такая статья? Не редактору, конечно. Он-то как раз из людей здравомыслящих. А Сергей его доводам не внял и стал требовать, чтобы статью напечатали. То основание, что в ней все – правда, никого не убедило. Потребовалось немного времени, чтобы довести Сережу до такого состояния, что он сам швырнул заявление об уходе.

Вечером его буквально притащили домой… И я не выдержала – расплакалась прямо на глазах у его приятелей. Во мне не было злости на него, ведь ему самому в такие дни еще хуже. Но мне было так жаль его, что просто сердце разрывалось! Я уселась рядом с ним на пол и проплакала, наверное, целый час. Грех говорить, да и больно, только ведь хорошо, что у нас нет детей. Как они смогли бы понять все это?

А на следующий день я возвращалась с работы и встретила того человека. Никиту. И теперь мне кажется: эта четверть часа, которую мы провели просто болтая ни о чем, – самое светлое, что было в моей жизни за последние лет десять. Это неправильно – так думать, ведь были же и победы моих учеников на конкурсах, и собственные неплохие выступления, и дни, когда нам с Сережей было хорошо и весело. Но почему-то прежде всего мне вспоминаются эти минуты в трамвае…

Оказалось, мы уже встречались с ним, с Никитой. Но тогда я была слишком подавлена, чтобы память о другом человеке могла остаться во мне. Никита заставил меня вспомнить, как я оказалась тогда в лесу. В тот день Сережа в очередной раз лишился работы и со злости сказал, что это из-за меня застрял в этой дыре. Мол, будь он свободен, жил бы в Москве, хоть на каком-нибудь чердаке или в подвале, но работал бы в честной газете.

Я только спросила: „А такие существуют?“

Тогда он закричал, чтобы я подавилась этой честностью, которая не позволяет ему оставить меня и отправиться на поиски счастья.

Я сдуру брякнула: „А я думала, что я и есть твое счастье…“

Его так и перекосило от этих слов. Но Сергей справился с собой и сказал: „Конечно. Так и есть“.

Только меня это уже ничуть не обрадовало. Я видела, как душит его это счастье.

В другой раз, когда он заговорил о Москве, я сказала: „Знаешь что, поезжай. Один. Мне совсем туда не хочется. Но тебе, наверное, и вправду нужно жить в столице. Там для тебя больше воздуха, а для меня меньше“.

И это были не просто слова, я действительно так чувствую и готова отпустить его, но Сергей не хочет в это поверить. Он сразу принялся восклицать: „Как же я оставлю тебя? Как это возможно? Ты же совершенно беспомощная!“

„Я?! – Это меня не на шутку удивило. – Почему ты так решил? В чем я беспомощна?“

„Да ты ведь всю сознательную жизнь была замужем“, – уверенно произнес он.

Мне хотелось сказать, что это он был за мной всю сознательную жизнь, и это я втаскивала его на крыльцо, когда Сергей уже не мог подняться самостоятельно, и обслуживала его, и утешала, и занимала денег, и расплачивалась с долгами… Но я, конечно, не произнесла всего этого, ведь все, припомнившееся с обиды, было невероятно оскорбительно для него. Он не простил бы мне такого…

Я рассказываю вам все так откровенно только потому, что вас уже нет среди живых, а из них никто не знает обо мне почти ничего. Только вам известно, как с первой пьески „Воробей“ я шла к Рахманинову – вы вели меня. Но я не дошла… В той мере, как хотела, хотя, конечно, какие-то вещи я играла. Но во мне не оказалось мощи, созвучной рахманиновской, и, убедившись в этом, я сдалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

---

Купить: https://tellnovel.com/lavryashina_yuliya/navazhdenie-p-ero

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити